

МАША ТРАУБ



Посмотри
на меня

Проза Маши Трауб. Жизнь как в зеркале

Маша Трауб

Посмотри на меня

«ЭКСМО»

2022

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Трауб М.

Посмотри на меня / М. Трауб — «Эксмо», 2022 — (Проза Маши Трауб. Жизнь как в зеркале)

ISBN 978-5-04-160860-6

Любовь – это счастье? Иногда да. Но чаще всего – боль, нестерпимая. Зависимость, ненормальная страсть. А если такая любовь длится годами, едва ли не десятилетиями и заставляет отказаться от семьи и собственного ребенка? Если любимая профессия тоже становится проклятием? Тогда как жить? А может, это вовсе не любовь, а эгоизм, когда важны только собственные чувства? Судьба снова и снова дает герою шансы все исправить. Но для этого нужно отказаться от любимой женщины. И потерять себя. Чтобы потом заново обрести опору. Маша Трауб

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-160860-6

© Трауб М., 2022
© Эксмо, 2022

Маша Трауб

Посмотри на меня

Разработка серии и оформление обложки:

Александр Кудрявцев, студия графического дизайна «FOLD & SPINE»

Иллюстрация на переплете Ирины Ветровой

© Трауб М., 2022

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022

* * *

– Это сын звонит. Прости.

Виталий ответил на звонок.

– Да, конечно, позвони, как все пройдет, хорошо? Обязательно. Нормально себя чувствуешь? Выздоровел? Да, хорошо.

– Сколько ему сейчас?

– Семнадцать. В институт поступает. В МархИ. Надеюсь, все хорошо будет. Я больше него волнуюсь.

– Ты ведь, кажется, с ним не общался? Не воспитывал, не растил. Даже видеть не хотел. Насколько я помню, ты был рад, что тебя избавили от обязанностей отца? Или меня память подводит? А теперь беспокоишься, как заполошный отец. Не находишь это странным?

– Я с ним виделся. Даже готовил к поступлению в художественную школу.

– Сколько дал уроков? Два или три? А что потом? Он тебе надоел?

– Не сложилось. Он палец порезал ножом, который я ему подарил, и его мать... это было ее решение.

– Да, а сейчас ты обрел готового взрослого сына. Подожди, а когда он узнал, что ты его отец? Кажется, это была страшная тайна?

– Он сам. Нашел документы. Спросил у матери. Ему было пятнадцать. Какая разница?

– Ну да, конечно, никакой разницы. Подросток вдруг узнает, что у него есть отец, которого он даже видел, но считал посторонним дядей. И все это время этот дядя не сделал ни единой попытки изменить ситуацию. И не собирался признать, что он – отец. Ты хоть понимаешь, что творилось в голове у мальчика? Удивительно, что он еще с тобой общается.

– Ты стала злая. Изменилась. Ведь знаешь, чего я хотел. Тебя. Все было из-за тебя. И тогда тоже. Если бы не ты, все было бы по-другому. Да, он приходил три или четыре раза, не больше. Мне он нравился. Его мать, Лена, она была не против – наоборот. Я бы обязательно признался. Но опять появилась ты. Позвонила и разрушила мою жизнь. Как делала всегда. Дожидалась момента, когда я начинал жить без тебя, дышать, и снова все ломала. Ради тебя я отказался от семьи, от сына. Только ты в этом виновата. Я был зависим от тебя. Ждал каждый день. Ты же все знаешь, зачем сейчас начала вспоминать? Когда мне было плохо, тебя никогда не было рядом. Ни разу. А Лена была.

– Ты не меняешься. У тебя всегда кто-то другой виноват. Так и не научился нести ответственность. Раньше обвинял жену и ее семью в том, что они лишили тебя сына и сделали так, чтобы ты его не видел. Теперь вот меня виноватой назначил.

– Ты тогда была на моей стороне.

– Нет. Тебе хотелось так думать. Я была ни на чьей стороне. Не имела права. Кто я? Любовница.

– Любовь.

– Сейчас это не имеет никакого значения. Прошло все.

– Тогда зачем я тебе? Зачем ты появлялась? Почему не отпускала? И сейчас. Зачем пришла?

– Отпускала. Много раз. Ты меня не отпускал. Тебе нужны были мои коленки, ступни, шея, уши. До сих пор хранишь эти наброски? Они меня пугали, если честно.

– Храню. Я так и не написал тебя. Полностью. Уже не напишу.

– Ну почему? Я могу тебе позировать. Давай сейчас. Хочешь? И я перестану быть тебе интересной. Мы наконец расстанемся. Я за этим и пришла. Попрощаться. Уезжаю. Надеюсь, что навсегда.

– Далеко?

– Нет. Но достаточно далеко от тебя.

– Ты не ответила. Почему всегда возвращалась?

– Не знаю. Честно. Сначала была страсть. И да, ты прав – любовь. Безумная, ненормальная. Твои наброски. Они и пугали, и завораживали одновременно. Это была зависимость. В твоих набросках было столько страсти, столько желания. Мне нравилось смотреть на тебя, когда ты пишешь. А потом на себя на твоих рисунках. Разглядывать собственные грудь, плечо, локоть. Странная форма вуайеризма. Кстати, ты никогда не пытался совместить наброски? Как конструктор? А мне безумно этого хотелось. Вырезать и сложить на полу картину, как пазл.

– Мне это в голову не приходило.

– А я ждала картину. Хотела увидеть себя целиком. Ведь я тоже была как твои наброски – частями. Никак не могла себя собрать воедино. Ты это заметил, почувствовал. Или нет. Не знаю. Но мне казалось, что, когда ты завершишь картину, я сама стану полноценной. Настоящей. Понимаешь, я считала себя наброском, карандашным. Без красок, без теней. Вся моя жизнь была такая, набросанная наспех. Непрорисованная. Ученическим рисунком, на котором видны аккуратные обозначенные линии. Я все ждала, когда ученик превратится в мастера.

– Что изменилось сейчас? Почему ты уезжаешь?

– Мне надоело. Я устала. Ничего необычного. Хочу просто жить, наплевав на геометрию, композицию и пропорции. Раньше думала, что можно подтереть неудачи ластиком, заштриховать. Теперь понимаю, что проще порвать, сжечь холст и начать заново. Да, не морщись. Все настолько банально. Хочу начать жизнь с чистого листа. Посмотри на меня. Ты видишь? Здесь – целлюлит. Здесь – кожа провисла. Вот здесь – пигментные пятна. А здесь – новые складки. Раньше их не было. Не хочешь сделать новый набросок?

– Нет. Мне не нужно.

– А мне нужно. Если бы ты хоть раз посмотрел на меня по-другому. Ты не меняешься с годами. К сожалению. Я ждала много лет. Каждый раз, возвращаясь, надеялась. На что? Сама не знаю. Мыло-мочало, начинай сначала... Ты продолжал писать не меня, а придуманный образ. Меня, живую, не видел. Не хотел увидеть.

– Нет, я всегда писал тебя.

– Посмотри на мою коленку. Ни на одном наброске нет этого шрама. Ты его не замечал. Видел, конечно же. Миллион раз. Но его нет на твоих рисунках. Даже ни разу не спросил, откуда у меня этот шрам. Хочешь узнать? Нет? Сколько моих коленок ты написал? Сто? Двести? И ни на одной нет этого здорового шрама. В детстве, мне было девять, я упала с велосипеда и наткнулась на кусок арматуры. Коленку зашивали. А едва рана стала заживать, только сняли швы, я опять поехала кататься на велосипеде и упала. На эту же самую коленку. Ты этого не знал. Тебе это было неинтересно, не нужно. Как лишняя, бессмысленная информация, которой не хочется засорять голову. Ты ни разу, пусть из вежливости, не спросил, как я себя чувствую, болит ли у меня голова, в конце концов. Как-то я приехала к тебе с загипсованной по локоть рукой. На перевязи. Ты, кажется, этого не заметил. Рисовал мои ступни, икры. Не помнишь? Конечно, нет. Если бы просто хоть раз поинтересовался, как прошел мой

день. Сколько мы знакомы? Твой сын еще не родился, когда мы познакомились, вот и считай. И ты не знаешь, что я люблю, чего терпеть не могу. Что я предпочитаю – чай или кофе. Какие люблю фильмы, книги, музыку. Ты ничего обо мне не знаешь.

– А ты обо мне?

– О, это твой любимый прием – всегда отвечать вопросом на вопрос. Поверь, о тебе я знаю больше, чем ты думаешь. Не ешь сметану и терпеть не можешь любые блюда, залитые соусом. Ты пьешь кофе с одним куском сахара. Чай – только с лимоном и без сахара. Тебя не раздражает пыль, но тут же хватаешься за тряпку, если видишь пятна на полу. Продолжать? И да, с тобой невыносимо находиться дольше четырех часов. У тебя появляется на лице выражение муки и страдания – до того хочется остаться одному, надоедает присутствие рядом другого человека. Даже раздражает. И ты абсолютный, кристаллизованный эгоист. А еще сноб. Не знаю, что хуже. Тебе наплевать, хочет ли другой человек есть или пить, если ты в тот момент не голоден и не страдаешь от жажды. Если я хотела просто посидеть в кресле, тебя это не волновало. Новый набросок занимал все твои мысли.

– Возможно, я эгоист, но точно не сноб.

– Разве нет? Кто такая Галя? А дядя Петя? Не знаешь? Потому что они для тебя никто, пустое место. Галя – консьержка. Она твою бабушку помнит. Рассказывала мне, как та всегда ей что-нибудь на праздники дарила – пусть цветок, коробку конфет, – но всегда останавливалась, спрашивала, как Галя поживает, как учится в школе ее внук. Ты ни разу с ней не поздоровался. Не кивнул. Дядя Петя – твой сосед снизу. Он курит на лестничном пролете. На лестнице проводит больше времени, чем в квартире. Жenu похоронил пять лет назад. Она болела тяжело, дядя Петя подрабатывал сантехником, электриком, дворником, чтобы жене лекарства купить. Весь подъезд сбрасывался на похороны. Все дали кто сколько мог. Хоть копеечкой, но помогли. Все, кроме тебя. Я тогда отдала, сказала, что ты передал. Дядя Петя и у тебя засорчинил, прокладки в кране менял. Ты тогда ушел в комнату, оставив с ним меня. Тебе было противно, что от дяди Пети пахнет немытым телом и дешевыми сигаретами. Ты просто не считал нужным общаться с каким-то сантехником.

– Это не снобизм.

– Да, ты прав, это скорее открытое хамство. Ты можешь унижить человека, не заметив этого. Не слышишь собеседника. Всех, кто чуть меньше знает, автоматически считаешь идиотами. Даже меня считал полной дурой. Просто потому, что я ничего не понимала в живописи, не разбиралась в искусстве и не собиралась. Это тебя раздражало и заводило одновременно. Твоя жена. Хорошая, добрая женщина. Верная, преданная. Сколько она для тебя сделала? Ты хоть раз сказал ей спасибо? Ни разу. Принимал как должное. А ведь благодаря ей и ее семье получил дом, поддержку, пресловутый тыл, в которых так нуждался. Они тебя приняли. Сразу и безоговорочно. Со всеми твоими закидонами и потрохами. А ты их нет. Почему? Потому что твой тесть, как ты рассказывал мне, военный, солдафон, а значит, тупой по определению. Теща – неработающая домохозяйка – вообще твоего внимания не заслуживала. Разве нет? И жена – не красавица, не умница. Просто жена. И плевать тебе было на ее заботу, на то, что она не трепала тебе нервы, не унижалась и одна растила сына. Ты хоть копейку ей сверх алиментов заплатил? Нет. Хоть раз поблагодарил за то, что она была рядом в самые тяжелые моменты? Нет. И она ни разу тебя не попрекнула. Ни словом, ни делом. У тебя даже друзей нет, не нашил за всю жизнь. Ни одного человека, которого мог бы назвать хотя бы приятелем. А сейчас гордо объявляешь, что у тебя есть сын. Есть. Но ты спросил у него, считает ли он тебя отцом? Что творится у него в душе, в голове? Винит ли он тебя? Не спросил. Тебе ведь и в голову не пришло поговорить с ним, объясниться хоть как-то. И перед ним извиниться. Мальчик, видимо, вырос воспитанный. И не может сказать тебе все, что думает. Исполняет свой сыновий долг, как его мать всегда исполняла свой – жены, хоть и бывшей, но не постороннего человека.

– Зачем ты мне все это говоришь? И если я такое чудовище, подлец и скотина, а ты все видела и понимала, почему была со мной? Все это время?

– Вряд ли ты поймешь. Да я и сама себя никогда не понимала. Каждый раз обещала себе, что этот раз – точно последний. Больше не приеду. Но иногда, в определенные моменты, ты был совершенно другим. Гением. Художником. Это завораживает по-настоящему. Никто никогда на меня так не смотрел. Будто моя нога или рука – шедевр, который невозможно повторить. Недостигаемый идеал. Благодаря тебе я чувствовала себя настоящей женщиной. Красивой. Да, наверное, поэтому. Ты давал ту уверенность в себе, которой мне всегда не хватало. Будто сеанс гипноза. От тебя я выходила другой. Той, какой никогда не была – яркой, дерзкой, наглой. На какое-то время хватало, а потом мне снова требовался твой взгляд. Как допинг или наркотик. Поэтому и возвращалась. За новой дозой. У нас была взаимозависимость. Мы подпитывали друг друга, так мне казалось раньше. Сейчас понимаю – это было взаимное разрушение. Нам было противопоказано жить вместе. Мы бы друг друга уничтожили. Высосали все соки, выпили бы всю кровь и умерли в один день.

– Мне бы этого хотелось.

– А мне нет. Я хотела жить. Без тебя.

– У тебя были другие мужчины.

– Были, но я их не помню. Точнее, вспоминать особо нечего. Я пыталась выжить между периодами существования с тобой. Была согласна на любого, лишь бы ты уже не стоял перед глазами, не снился каждую ночь. Эти кошмары невыносимые... Мне казалось, что с каждым твоим наброском я теряю часть себя. Отдаю себя по кускам и скоро от меня вообще ничего не останется.

– Ты уезжаешь к кому-то? У тебя кто-то появился?

– В том-то и дело, что нет. Я уйду не к кому-то, как было раньше, а от тебя. Одна. У меня никого нет, и я не уверена, что будет. Но я попытаюсь начать жить пусть не заново, но по-другому. Без тебя, без набросков, понимаешь? Забыть дорогу в твою сторону, номер дома. Квартиру твою стереть из памяти. Если бы изобрели технологию вроде лоботомии, по удалению части памяти, совершенно конкретной части, я была бы первым добровольцем, чтобы ее испытать. Разве тебе так не хотелось? Никогда?

– Нет. А мне что ты предлагаешь делать? Пожелать тебе удачи и пожать руку на прощание?

– Не знаю. Живи. Общайся с сыном. Постарайся вымолить прощение у своей жены и быть ей хотя бы благодарным. Стань ей другом. Или предложи снова выйти замуж. Она согласится. Непременно. Наверняка только этого и ждет, ждала все эти годы. И вы вместе состаритесь. Будете сидеть рядом на свадьбе вашего сына, воспитывать внуков. Она непременно станет о тебе заботиться, приносить чай, следить за твоим давлением, проветривать комнату, как ты любишь. В солнечные дни вы будете гулять по парку – потихоньку, медленным шагом. Или сидеть на лавочке и молчать. Почему нет? Прекрасный закат твоей счастливой новой жизни, не находишь?

– Это невозможно. Ты сейчас специально? Издеваешься? Говоришь такие пошлые банальности...

– Вовсе нет. Разве мы с тобой, наша связь – не пошлая банальность? В этом ты тоже не изменился, к сожалению. Тебе проще списать все на глупость другого человека, чем признать, что это правда. Ты пошлый и банальный. Не хочешь тратить силы, эмоции, чувства. Или попросту лень. Что ты всегда хотел? Еще тогда, много лет назад, когда твоя жена подала на развод? Чтобы тебя оставили в покое. И потом мечтал только о том, чтобы все беды, неприятности решались сами собой, чужими руками разводились беды, решения принимались за тебя. Удивительно, что так все и случилось. Даже завидую.

– Я одного не понимаю – к чему этот разговор? Что ты хочешь мне доказать? Почему просто не уехала?

– Ну, считай, что я твоя вдруг заговорившая совесть. Хотя она у тебя, кажется, давно потеряла право голоса. Сейчас я – эгоистка. Все это говорю не для тебя, для себя. Мне самой нужен был этот разговор. Выговориться, чтобы не осталось недоговоренностей, сомнений, вопросов. Я ведь не только тебе жизнь сломала, как ты считаешь, но и себе. У меня никого и ничего нет. Даже ребенка. Наверное, это моя расплата. В бога я не верю, так что отомолить грех не получится. Я забеременела от тебя почти сразу. Мы едва начали встречаться. Очень перепугалась. Тогда я была не готова – вся жизнь впереди. Работала чуть ли не круглыми сутками, без отпусков и выходных. Видела, что и тебе ребенок не нужен. Так что сделала аборт на раннем сроке. Думала, еще успею. Все женщины делают аборт, а потом спокойно рожают. Мне казалось, что это как зуб мудрости вырвать – долго потом еще челюсть болит, но все проходит. Было совсем не страшно – я не чувствовала боли, не плакала, не испытывала моральных страданий. Все прошло легко и быстро. На удивление. Только потом я больше не могла забеременеть. Ни с тобой, ни с кем-то другим. Врачи говорили, все в порядке, я здорова. Надо подождать, надеяться. На что?

– Я не знал... что ты была беременна...

– Конечно, не знал. А зачем? Я даже была рада. Тогда. Знаешь, иногда безумно тебе завидовала. Ты знал, что у тебя есть ребенок. Где-то там, пусть не рядом, но он есть. И ты в любой момент можешь его увидеть, если захочешь. Получается, ты прожил не такую уж ничемную жизнь, как я. У тебя есть жена, пусть и бывшая, женщина, которая тебя любила всю жизнь. Готовая тебя принять в любой момент. Сын, пошедший по твоим стопам. А у меня? Ничегошеньки. Ни одного якоря. Даже квартиры. Я ее продала сразу после смерти мамы. Живу сейчас на съемной.

– Соболезную.

– Да, спасибо. Смешно, конечно. Ты ведь не знал, что я похоронила маму. Как не знал, что у меня есть старший брат и две племянницы, третья скоро родится. Может, моя судьба – быть замечательной тетей, а не матерью? Племянницы меня обожают. Кто знает?

– Почему ты не сказала про беременность?

– Я пыталась. Помнишь, говорила, что хочу когда-нибудь родить девочку и назвать ее Анной. Ты фыркнул и сказал, что всех Аней зовут Нюсями и тебя тошнит от этого имени. Тебя и от имени сына воротило. Лерик, так ведь? Валерий. Как ты его называешь сейчас?

– Валерьяном.

– Забавно. Кстати, помнишь, что стало последней каплей? Почему твоя жена подала на развод?

– Измена. Я тогда был с тобой.

– Нет. Она о нас не знала, даже не подозревала. Твой сын тогда попал в больницу, а ты к нему не приехал. Она звонила и звонила. Ей нужна была твоя поддержка. Я тогда уехала, и ты сказал, что разберешься с семьей и позвонишь. Ты позвонил, но до больницы так и не доехал. И потом не приехал, даже не поинтересовался, как себя чувствует твой сын. Сейчас уже не важно на самом деле. Ты вообще часто вспоминаешь прошлое? Не частями, не кусками, а событиями? Восстанавливал хронологию? У меня целое кино в голове, покадровое.

Виталий вспоминал, и часто. Лена тогда позвонила в истерике. Сказала, что Лерик задыхается. Не может дышать. То ли круп, то ли астма. Забирают в больницу.

– Ты можешь приехать? – кричала Лена.

– Сейчас? – спросил Виталий.

– Да, сейчас. – Лена продиктовала номер и адрес больницы.

– А где твои родители? Они не могут с тобой поехать? – спросил Виталий.

Лена бросила трубку. Виталий тогда отказался от всех заказов. Поставил посередине комнаты стул, накрыл его простыней, водрузил сверху старый дырявый бидон. Сдернул шторы, пытаюсь вытянуть из столичного вечно грязного, как обувь, сумрака хоть каплю света. Писал по-ученически тщательно, осторожно, аккуратно. Добивался идеальных пропорций. Штриховал, стирал. В этом не было никакого смысла, конечно. Бидон его раздражал налипшими слоями жира, грязи и пыли. Все раздражало. И эта простыня, несвежая, напоминавшая об Инге. И окна. Грязные, естественно. Бабушка мыла дважды в год. Осенью и весной. Всегда сама, не доверяя никому – ни соседке, которая хотела помочь по доброте душевной, ни женщине, появлявшейся в их подъезде дважды в год и ходившей по квартирам, предлагая свои услуги. Бабушка разводила секретный состав на основе нашатырного спирта и натирала исключительно газетами, презируя тряпки.

– Бабуль, ну ладно весной, а осенью зачем мыть – дожди каждый день? – спросил как-то Виталий.

– Как зачем? Положено, – удивлялась вопросу бабушка.

Кто сказал, что положено, Виталий не уточнял.

– Вот, послушалась вас, Валентина Ивановна, помыла окна вчера по вашему совету, а сегодня что? Ну посмотрите! Ливень стеной! Надо было еще недельку подождать, – причитала соседка.

Но бабушку ни ливень, начавшийся на следующий день после помывки, ни вдруг выпавший снег или град не волновали. Окна она уже помыла. Дело сделано. Даже когда однажды весной бабуля увидела на чистом еще накануне вечером окне следы мошкеры, которая вдруг откуда-то налетела и влипла в стекло, она и бровью не повела. Перемыть не стала. Крылья, лапки и тельца мошек, не сдутые ветром, украшали стекло все лето, до следующей большой помывки.

– Как хорошо. Сразу светло стало, – всегда повторяла бабушка, усевшись напротив отмытого окна.

Виталий не спорил. Светло так светло. В их квартире без искусственного освещения прожить было невозможно. Тому, кто отвечал за планирование постройки, Виталий всегда желал побольше несчастий в жизни. Ни в одной квартире в их домах, однотипных девятиэтажках, не был предусмотрен хотя бы крошечный балкон. Окна же были обращены на теневую сторону. Зато с обратной стороны общие балконы, просто громадные, по сравнению с квартирами, где трехкомнатная больше походила на однокомнатную, нарезанную узкими комнатусками-пеналами, всегда были залиты слепящим светом. Виталий не понимал, почему нельзя было повернуть весь квартал окнами на солнечную сторону и убрать бессмысленные общие балконы. Они были поделены между квартирами на квадраты и заставлены хламом – старыми шкафами, сломанными велосипедами, выставленными туда с обещанием починить следующим летом, старыми люстрами, которые рука не поднимается выбросить, но и отдать кому-то даром тоже жалко.

В год заселения все жильцы высадили перед домами деревья. Сажали, как ненормальные, много, активно, все что ни попадя. Сажены берез, тополей, елок, яблонь. Каждый дом хотел перещеголять соседний, и кусок земли, отведенный не пойми подо что, естественно огромный по сравнению с крошечной детской площадкой, установленной в каждом дворе, был засажен по самое не могу. Наверное, тот год был урожайным или плодоносным – кто его знает, – но во дворах прижились все деревца, даже чахлые яблоньки. Деревья росли с ненормальной для столичного климата скоростью и отличались пышностью и активностью цветения. Жильцы решили не останавливаться на достигнутом и ввели традицию – по любому важному поводу во дворе высаживали новое дерево. Рождение ребенка, первый раз в первый класс, окончание школы. Дни рождения, именины – естественно. Юбилеи, годовщины свадеб – обязательно.

И эти деревья успешно приживались. Уже представители следующего поколения жильцов вспоминали, как гуляли не во дворе, а в рощице под окнами. Там же, в случайным образом появившейся канаве, весной превращавшейся в полноценный ручей, малышня пускала кораблики и проходила своеобразный обряд инициации – перепрыгивала поток в самом широком месте. Перепрыгнул, не замочив ботинок, – стал взрослым и допускался до игр со старшими. В рощице закладывались «секретки» – цветные бутылочные стекла, фантики. Там же, но чуть подальше от «мелких» тайком курили подростки. А еще дальше, под тополями, назначали первые свидания, давали клятвы и переживали бурные расставания. Родителям было спокойно – все знали, где искать детей. В ручье не утонут – слишком мелко. На бутылочное стекло не наступят – за оставленную в рощице бутылку им обещали открутить голову сразу же. Как и за сломанную даже ненароком ветку дерева. Цветки мать-и-мачехи, одуванчики дозволялось рвать только малышам. А лютиками, расползающимися ковром, старшие традиционно пугали младших, но уже подросших и впечатлительных пятилеток: куриная слепота. Сорвешь и ослепнешь, как курица. Дети, никогда в жизни не видевшие живую курицу, страшилкам неизменно верили и отчаянно рыдали.

Следующее поколение застало первое цветение тополей и берез, насладившись летящим, как снег, тополиным пухом, от которого нет сладу, и цветущими березовыми сережками, которые девочки срывали и носили, повесив на уши. Жильцы квартир с первого по четвертый этажей, и без того вечно темных, из-за деревьев потеряли всякую надежду увидеть проблеск солнечного света. Зато они уверяли, что ранним утром, часов в пять, можно услышать пение соловьев и стрекот других птиц. Прекрасно же. Первые жильцы уже с внуками активно строили и развешивали скворечники. Не из каких-то пакетов из-под молока, а настоящие деревянные домики, соревнуясь, в чьем скворечнике скорее заведутся птенцы. Птиц подкармливали семечками, и кто-то видел в рощице двух белок. К тополиному пуху, мошкаре, полчищам комаров и появившихся ос добавилась еще одна проблема – вечно загаженные птичьим пометом подоконники. Причем с двух сторон, включая внутреннюю, в квартире. Как уж птицы умудрились просочиться в форточку, никто не знал. Ос травили дихлофосом. Если первый «выводок» реагировал на отраву, то следующие от дихлофоса даже не чихали. Осы вили гнезда в углах домов, залетая в квартиры как к себе домой.

Ну а уже следующее поколение столичных детей задыхалось и кашляло во время цветения березы. Тополиный пух, которым так восторгались первые жители микрорайона, стал настоящим проклятьем. Каждый год на общем собрании жильцов поднимался вопрос – вырубить деревья к чертям собачьим. Но старшее поколение, не страдавшее никакими видами аллергии, стояло насмерть. Тополя – символ их района. Вырубить их – значит уничтожить память о предках. У кого рука поднимется на такое святотатство? Сразу же и отсохнет. Так что детей на время цветения старались переселить на чахлые дачи, отправить к дальним родственникам, вдруг ставшим очень родными, поскольку в их краях ни тополя, ни березы не росли. Если жители приводили опухших и рыдающих детей на собрание жильцов в качестве аргумента для вырубки хотя бы части рощи, всегда находились те, кто приводил детишек совершенно здоровых, не чихающих. Виталий был из вторых. И бабушка всегда водила его на собрания жильцов. Бабушке нравился тополиный пух, залетавший в квартиру и лежавший уверенным ковром на полу.

Виталий любил эту квартиру, странную, темную, с вечно влезавшей в окно веткой клена, которую бабушка бережно выпихивала назад. С осиным гнездом в угловом стыке, которое не брали ни крутой кипяток, ни известь. С утренним ором птиц и, конечно же, загаженным в несколько слоев подоконником. Проще смириться, чем отмыть.

– Только не продавай эту квартиру после моей смерти. Она твоя, я дарственную подписала. Пусть останется, – попросила бабуля, вручая Виталию бумаги – подарок на восемнадцатилетие.

Виталию и в голову не могло прийти продать эту квартиру. Ему было в ней хорошо. Эта квартира умела менять цвет и свет. Обои вдруг становились не бежевыми, а оливковыми. Мутный свет люстры вдруг выдавал такую тень, которую искусственно не создашь. Это было его место. Место силы. Сюда он приезжал, когда было хорошо и когда плохо. Когда болел или, наоборот, находился на творческом подъеме. Здесь он, отбросив кисти, сражался с осиным гнездом. В этой квартире-хамелеоне достаточно было повесить на карниз любую тряпку, чтобы получить новый свет, новые тени. Ни одна студия, самая просторная и шикарная, не могла похвастаться таким свойством. Бабушка сразу же выделила ему большую комнату, перетащив куцый диванчик и все свои вещи в маленькую.

– Бабуль, давай я в маленькой, – просил Виталий.

– Нет. В своей делай и меняй что хочешь, а мой будуар не трогай, пока я не умру.

После бабушкиной смерти Виталий врезал в ее комнату замок и закрыл. Иногда заходил, ложился на диванчик и засыпал. Он не переставил ни одной фотографии на полке, не убрал ни одной салфетки. Бабушкина любимая чашка так и стояла на столе. Ее спицы, воткнутые в клубок, лежали в углу диванчика. Он взял только бабушкину любимую подушку-думочку. Подкладывал под спину. Боль, иногда мучившая его, уходила сразу же.

Виталий помнил, как украдкой сделал набросок – Инга стояла к нему спиной, курила в форточку. Неожиданно долго, почти не двигаясь. Он схватил карандаш, кусок бумаги и попытался зафиксировать тот момент. Инга обернулась, когда он дошел до ступней. Самого главного. Для него значимого. Сколько раз он себя проклинал, что не начал со ступней, с пола? Тогда бы Инга обрела устойчивость, а не висела в воздухе. Конечно, он мог дописать позже, ничего сложного, два штриха. Но для него момент ушел. Инга сделалась призраком. Тот набросок, самый первый, так и остался лучшим. Все остальные он сравнивал с ним, но больше ни разу не удалось поймать ни тот свет, ни тени, ни Ингу. Ее напряженную спину, вскинутый подбородок, когда она выпускала дым. Пальцы, державшие сигарету. Инга красиво курила. Всегда. Виталий, не реагирующий на березу и тополя, задыхался от табачного дыма. Не мог дышать. Глаза начинали слезиться.

– Не кури, пожалуйста, – просил он.

– Я хочу, – отвечала спокойно она, пошире открывая форточку.

– Зачем ты куришь?

– Мне это нравится. У меня не так много пороков, вредных привычек. Курение я могу себе позволить. И бросать не собираюсь. Не проси.

Виталий больше не просил. Точнее, просил, чтобы она еще раз встала к окну и курила так, как в тот день. Но все было иначе. Не так.

– Подожди, еще пять минут, можешь еще одну сигарету выкурить? – умолял он.

– Нет, не могу. У меня уже дым из ушей идет, – отвечала Инга. – Могу изобразить. – Она делала вид, что курит.

– Нет. Это подделка. Ты ненастоящая. Это видно, – сердился Виталий.

– Тогда переключись на что-то другое, – хмыкала Инга.

И он переключился. На ее ступни, пальцы, ключицы, бедренные кости, икры, ахилловы сухожилия. Они были неидеальными, но он не мог оторвать от них взгляд. Слишком высокий подъем. Стопа, будто сломанная. Инга никогда не стояла на полной стопе – или выламывала ступню, или поджимала пальцы. Ему становилось нехорошо. Он боялся, что она сейчас переломает себе все пальцы. У нее были «иксовые» ноги, как говорят в балете. Выгнутые коленками в обратную сторону, как у жеребенка или олененка. Природные данные или аномалия тела, которая считалась идеальной для сцены. И эта невероятная стопа. С увеличенной горкой сверху. Инга, если натягивала носки, доставала пальцами до пола. Сколько раз он пытался нарисовать ее ступню? Миллион.

– Меня брали в балетную студию, но мама не хотела водить. Говорили, что у меня данные, которые раз в сто лет появляются, – как-то рассказала Инга. – По-моему, это уродство. Генетическая поломка.

– Это прекрасно, – шептал Виталий, мгновенно забывая и о Лене, и о сыне. Обо всем на свете. Для него существовала только эта выгнутая, будто выломанная, стопа.

Лена потом звонила. Кричала. Срывалась в истерику, без конца задавая один и тот же вопрос, на который у Виталия не было ответа:

– Как ты мог так поступить? Как ты мог? Это же твой сын!

Виталий молчал.

– Ты даже не считаешь нужным придумать объяснение своему поступку! – кричала Лена, заходя на очередной круг скандала. – Не хочешь попросить прощения? Не у меня, у сына?

– Прости, – выдал из себя Виталий и вдруг вспомнил, как его мать тоже требовала просить прощения за любую шалость или провинность. Маленький Виталик даже не знал, что мама от него хочет, потому что не понимал, как это – «просить прощения». Но дети быстро догадываются, что от них хотят взрослые, не вникая в смысл слов, которые звучат абракадаброй. Виталик, склонив голову, говорил:

– Прошу прощения.

– Скажи, что больше так не будешь! – требовала мать.

– Я больше так не буду, – повторял послушно Виталик.

Уже в детском саду он получил возможность до совершенства отточить мастерство просить прощения. Он первым подходил к воспитательнице или нянечке и, глядя в пол, шептал:

– Прошу прощения. Я больше не буду.

Те тут же сменяли гнев на милость, поскольку ребенок сознался сам, да еще и пришел с повинной до того, как его начали ругать. Конечно же, Виталика гладили по голове и просили, чтобы он был «хорошим мальчиком» и больше не ломал, например, игрушечный экскаватор и не путал детали металлического конструктора, закладывая их в разные коробки. А также не лепил пластилин к длинным косам Ниночки и не дразнил толстую Тусечку толстой Тусечкой.

– Я больше так не буду, – сказал Виталий Лене и невольно, естественно, не специально, хохотнул. Он не мог ей объяснить, что в тот момент вспомнил маму, воспитательницу и Ниночку с Тусечкой.

Вот тогда-то и наступил конец.

– Ты издеваешься, да? Тебе смешно? – Лена даже не кричала, а стонала от гнева, бессилия, ярости.

Позже Виталий узнал, что родители Лены тогда уехали отдыхать в пансионат. Собрались впервые за много лет. Всего на десять дней. Передохнуть от забот о внуке, бесконечных волнений за судьбу дочери. Ленина мама, Людмила Михайловна, до последнего отказывалась ехать. Переживала, как оставит дочь и внука. Но и сил уже никаких не оставалось. Они с мужем давно собирались в Кисловодск – гулять по парку, пить воду, пахнущую сероводородом, и кислородные коктейли. Ходить на процедуры, массажи. Принимать лечебные ванны. Людмила Михайловна мечтала о новомодных, грязевых, которые якобы излечивали все болезни – от артрита до мигрени. А еще, по отзывам отдыхающих, продлевали женскую молодость во всех смыслах, включая интимный, о чем Людмиле Михайловне сообщила знакомая, побывавшая в том же пансионате. Конечно, по секрету, обдавая ухо слюной и жаром дыхания.

Лена тоже хотела, чтобы родители уехали отдыхать. Она понимала, что им это необходимо. Обоим. Мама устала от бытовых хлопот. Отец – от чувства вдруг возросшей ответственности. Мама как заведенная твердила, что они справятся, все будет хорошо, лишь бы Леночка была счастлива. И пусть поступает как знает, как хочет. Отец, бывший военный, не принимал этих аргументов. Он стучал кулаком по столу, а выпив, норовил поехать к «этому папаше»

и призвать того к исполнению отцовского долга. Была б его воля, он бы вывел «зятка», оказавшегося нерадивым новобранцем, на плац и заставил бы часов шесть маршировать. На жаре. До теплового удара. Или посадил бы на три дня на гауптвахту. Тогда бы тот точно захотел стать лучшим отцом для своего сына.

Когда родители уехали, Лена вдруг поняла, что боится. Лерик капризничал, плохо спал, плохо ел. Плакал надрывно, часами. Она не могла его успокоить, как ни укачивала, и не понимала, с какой стороны подступить к ребенку. Да, мама, ставшая бабушкой, почти полностью взяла на себя и кормления, и купания, и укачивания. Ночью подсакивала, едва Лерик начинал хныкать, и быстро успокаивала. Лена гуляла с коляской. Читала, сидя на лавочке, болтала со случайными приятельницами – Лерик, оказавшись на улице, засыпал сразу же.

Лена несколько раз собиралась позвонить Виталию, но останавливала себя. Она справится. Все справляются, значит, и она сможет. Но когда Лерик вдруг начал задыхаться, Лена растерялась и запаниковала. Она наконец осознала, что значит остаться одной. Когда за спиной никого – ни мамы, ни отца, ни какого-никакого мужа, с которыми можно разделить ответственность.

Лена позвонила в «скорую». Боялась, что на нее накричат, не дослушают, не поймут, но там, к счастью, ее слезы, невнятные объяснения не вызвали удивления. Перепуганной молодой мамочке положено быть нервной. «Скорая» приехала быстро. Необходимости в госпитализации, как заверил Лену врач, нет. Но Лена умоляла забрать их с сыном в больницу. Ей так было спокойнее. Не одна, рядом врачи. Пусть убедятся, что с Лериком все хорошо.

Виталий тогда так и не приехал. Ни в тот день, ни на следующий. Лена звонила еще несколько раз, просила привезти кефир, печенье, коробку конфет для медсестер, забрать их из больницы и довезти до дома. Она до последнего ждала, что увидит Виталия в вестибюле больницы. Оглядывалась на улице, надеясь, что тот просто вышел покурить. Стояла в воротах, глядя на дорогу, давая ему еще один шанс – появиться сразу на такси, извиняясь за опоздание. Но Виталий не приехал. Или забыл, или ему было наплевать. Так решила для себя Лена и была недалеко от истины. Он и забыл, и наплевал, откровенно говоря. Его интересовали только старый бидон и пропорции.

Звонки Лены его раздражали. Он ждал, что позвонит Инга. Не выходил даже в магазин – вдруг она приедет в тот момент, когда он будет стоять в очереди за хлебом? Не станет ждать. Когда звонила Лена, Виталий думал только об одном – в этот самый момент могла позвонить Инга, услышать короткие гудки «занято» и не перезвонить. Никогда.

Это была настоящая зависимость. Без Инги он не мог ни есть, ни спать, дышать не мог. Жить не хотел. Она все про него знала – про Лену, Лерика, развод, который он даже не заметил. Виталий ничего не скрывал.

– Почему ты молчишь? – спросил он как-то у Инги.

– А каких слов ты от меня ждешь? – равнодушно уточнила она. – Ты все равно поступишь так, как сочтешь нужным. Людям не нужны советы. Они вообще никого не слышат, кроме самих себя.

Он считал нужным быть с ней, писать ее. Набросками, кусками, выписывая ключицы, ложбинку на спине, шею. Ждать, мучиться ожиданием. Все остальное его не интересовало.

Лена его так и не простила за тот случай. Позвонила и сказала: Виталий может забыть, что у него есть сын. Навсегда. Больше он его не увидит. Алименты пусть перечисляет, согласно закону. Но никаких встреч. Никакого общения.

– Хорошо, – ответил Виталий.

– Хорошо? – Лена закричала так, будто ее полоснули ножом. – Что хорошо? Ты чудовище! Ты сейчас говоришь «хорошо»? Ты сам себя слышишь? Ты меня слышишь? У тебя нет сына! Ты это понимаешь? Это хорошо? Господи, как ты с этим будешь жить? Надеюсь, каждый твой день превратится в ад. Я хочу, чтобы ты испытывал ту боль, которую пережила я. И чтобы

задыхался так, как твой сын. А еще лучше – сделай одолжение – сдохни. Чтобы я честно говорила сыну, что его отец умер. Даже на могилу к тебе приду и цветы принесу. Только сдохни, пожалуйста. Ты не должен ходить по земле. Такие, как ты, не должны, не имеют морального права. Пустые, никчемные, бесполезные создания, не способные даже на то, чтобы заботиться о потомстве. Без животных инстинктов. Слышишь? Ты – никто. Пустое место. Ничтожество. У тебя нет близких. И не будет. Ты понял? Я тебя проклинаю. Хочу, чтобы ты никогда не узнал, что такое настоящая близость, семья, поддержка. И знаешь что еще? Не проклятие, а просто совет. Не становись больше отцом. Ты не можешь. Не способен. Тебе дети противопоказаны.

– Интересно, а если бы он был сантехником или окончил заборостроительный институт, ты бы стал с ним общаться? С тем же энтузиазмом? – спросила Инга, повернувшись на живот. Он сначала задохнулся от желания, а потом от ее вопросов.

– Кто? – не сразу отреагировал Виталий. Он думал о том, какой могла бы быть их с Ингой дочь. Да, у них должна была родиться именно девочка. Наверняка похожая на Ингу, с ее странными и прекрасными ступнями, шеей, ломкими руками. Он часто писал Ингины руки. Если она опиралась на ладонь, рука выгибалась в локте так, что становилось страшно. Будто рука вот-вот сломается.

– Ты как птица, – часто повторял Виталий.

– Почему?

– У тебя будто нет костей. Как у обычных людей. Ты – лебедь. Смотри, как ты сидишь... – Виталий прочертил пальцем по воздуху, повторяя изгиб ее руки. – Это ненормально, странно и прекрасно. У людей так руки не гнутся.

– Да, меня в детстве дразнили «гуттаперчевой девочкой». Помнишь книгу «Гуттаперчевый мальчик»? Нам ее задали читать на каникулы. После этого меня начали дразнить. Я себя ненавидела. Свое тело. Знаешь, какая кличка у меня была в школе? Змея. Такие в цирке выступают с номером «женщина-змея», которая может ноги к ушам поставить. Аттракцион. А на самом деле это болезнь, – хмыкнула Инга. – Я всю жизнь живу с болью – колени, стопы, суставы разламывает, выкручивает, голова раскалывалась. В детстве врачи говорили, что я так расту. Так и называли – болезнь роста. И говорили, что все само собой пройдет. Не прошло. Надо было идти работать в цирк.

Виталий схватился за карандаш. Инга смотрела иначе. Во взгляде отразилась боль. Изменился цвет зрачка – темно-коричневый вдруг окрасился охрой с проблесками оливкового, болотного.

– У тебя сейчас зеленые глаза... – прошептал Виталий.

– Да, так бывает, – пожал плечами Инга. – А ты можешь вот так сделать?

Она подскочила на кровати и села в позе лотоса, заложив ноги, как делают йоги, легко забросив ступни на бедра.

– Издеваешься? – рассмеялся Виталий.

– Знаешь, я все детство развлекала одноклассников трюками. Мне за это давали списать математику или физику. Смотри. – Инга отогнула мизинец на 90 градусов. Виталий охнул.

– А вот так? – хохотнула Инга и пригнула большой палец к предплечью. – Попробуй.

– Нет, спасибо. Я себе палец сломаю.

– Знаешь, что самое смешное во всем этом? Лишь один врач сказал моей маме, что я больна. И лишь тот врач заметил то, что не замечал никто. Я при всей своей гибкости, гуттаперчести, не могу прогнуться под лопатками. В пояснице могу сложиться в мостике, обхватив руками лодыжки. А под лопатками не гнусь совсем. Знаешь почему? Тот врач сказал, что сразу видит детей, на которых дома кричат или которых обижают. Тех, кто живет в боли, не важно какой – физической или моральной. Такие дети не умеют гнуться под лопатками, потому что привыкли сутулиться, закрываться, защищаться от внешнего мира, реальности. Они не

чувствуют защиту. Врач посоветовал маме просто перестать на меня давить и оставить в покое. Дать мне возможность расправить лопатки и плечи. Мама тогда сказала, что врач странный и явно шарлатан, раз даже никаких таблеток не выписал. С чего он вообще взял, что мне плохо? Всем бы так плохо было. А она к нему записывалась на прием за два месяца и заплатила крупную сумму. И за что? За то, что врач ее во всем обвинил?

– У тебя идеальные лопатки и плечи, – промямлил Виталий.

– Нет. Они изуродованные, как и все тело. Мама нашла другого врача, который прописал мне корсет. Пыточный инструмент. Мама была счастлива, считая, что этот способ точно поможет и я не буду ходить скрюченная. Я ведь даже сидеть ровно не могла от боли. Выскакивала после урока на перемену в слезах. Мне было удобно только в одной позе – поднять колени к груди и ссутулиться так, что спина становилась горбом. Мама отправляла меня в школу в корсете, который я срывала в туалете. Даже на физре я стеснялась переодеваться – все тело было в мокнувших язвах. Летом мама отправила меня в Евпаторию, в пансионат для лечения заболеваний опорно-двигательной системы. До сих пор страшно вспоминать то лето. Тех детей, у кого были проблемы с ногами, заставляли носить специальные ботинки, тяжеленные, кондовые. По жаре в них было невозможно стоять, не то что ходить. Все – и малыши, и подростки – плакали – ботинки сжимали и без того истрадавшие, изувеченные ноги. Их называли «испанками», как испанский башмачок для пыток. Воспитатели следили, чтобы ботинки были крепко зашнурованы, и заставляли детей проходить в них три круга вокруг огромной центральной клумбы.

Представь себе детей разного возраста, которые еле двигались по кругу друг за другом. Они волокли ноги, будто на них навесили кандалы. Рыдали в голос все, не стесняясь, не сдерживаясь. Прогулка была ежедневной пыткой. Плач заглушали бодрой музыкой, раздававшейся из громкоговорителя. Включали специально на время прогулок. Ладно, я считалась уже взрослой, и мама со мной не поехала. Но с маленькими детьми прибыли мамы или бабушки. Они снимали комнаты по соседству с пансионатом и собственными глазами видели эти прогулки. Из-за забора, конечно, но наблюдали все издевательства. Никто не вмешался, не защитил собственного ребенка, не забрал оттуда в первый же день. Это было настоящее предательство. С таким мало что может сравниться.

Малыши после прогулки не могли идти на обед. Они падали пластом на кровати и плакали уже тихонько, всхлипывая, уткнувшись в подушку. Потому что тех, кто плакал громко, воспитатели наказывали – заставляли снова обувать ботинки и стоять в углу. Я помню, что мы, спинальники: те, кто был отправлен в пансионат после травм позвоночника, и такие, как я, – странные, с врожденными особенностями или без понятного диагноза, – носили малышей в столовую на руках. Иначе они бы остались голодными – приносить еду в палаты воспитатели запрещали. Это тоже считалось частью терапии: голод – самый мощный стимулятор. Хочешь есть – доползешь до столовой. А эти малыши не хотели ползти. И есть не хотели. Хотели умереть. Признавались в этом так, что мы, подростки, верили – дети прекрасно знают, о чем говорят. У них не было страха перед смертью. Было ожидание. Смерть они призывали, умоляли прийти поскорее, разговаривали с ней, как с живым существом, которое может забрать и принести долгожданное облегчение. Одна девчушка, Катюша – пятилетняя, но выглядела как трехлетка, – рассказывала, что после смерти попадет на облачко и будет на нем спать. Она так красочно описывала жизнь на облаке, что остальные дети тоже стали верить, что после смерти попадут на небо. Когда это услышала воспитательница, она заставила Катюшу мыть язык хозяйственным мылом, чтобы больше не «рассказывать всякие глупости». В том пансионате была концентрация жестокости, издевательства и извращений. Там могли работать только маньяки, которым нравится причинять боль детям.

Мы, подростки, поделили маленьких детей между собой и каждый носил одного или двух подопечных в столовую, в душевую, в туалет. Конечно, это категорически запрещалось делать, но нам было наплевать. Я тогда решила для себя, что если не помогу Катюше или еще кому-

нибудь, то сама утоплюсь или повешусь. Потому что выдержать такое возможно, только если противостояшь, пусть из последних сил, но сопротивляешься.

Каждое утро мы напяливали на себя гипсовые корсеты, в которых было невозможно согнуться и повернуться. Тело под ними жутко чесалось. Но дети живучи и изобретательны. Кто-то из более опытных ребят показал, как разбивать молотком корсет, делать его мягче. Как незаметно подрезать шнурки и не завязывать до конца, до потери способности дышать. Молоток был украден давно, спрятан за шкаф, а его местонахождение передавалось по страшному секрету вновь прибывшей смене мучеников. Так что мы хотя бы могли ходить и помогать младшим.

По вечерам нас всех отправляли на «коврики». Считалось, что эти волшебные коврики с острыми пупырышками-аппликаторами снимают зажимы и спазмы. Нас собирали в одной комнате. Те, у кого имелись проблемы с ногами, стояли на этих ковриках. А мы – лежали. Мама потом купила такой коврик за какие-то немыслимые деньги и заставляла меня на нем лежать каждый день. Это было издевательство. Пытка. Насилие. Кто-то лежал спокойно, даже с удовольствием, я же не могла. Меня будто иглами прокалывали насквозь. Тогда я узнала, что такое ненависть. Настоящая. Нутряная. Когда хочешь убить родного человека, который обрекает тебя на ежедневные страдания. И утверждает, что это ради твоего же блага. Страшнее всего не просто ненависть, а ненависть, порожденная нестерпимой болью.

– Не уезжай. Я от тебя завишу физически. Всегда так было, ты знаешь, – попросил Виталий.

– Да, знаю. Но с тобой я тоже страдала. Наша связь... странная... не приносила мне облегчения, счастья. Только боль. Я прокручивала ее в голове, наслаждалась ею. Старалась выгнуть сильнее ногу, тебя это вводило в ступор. Ты смотрел на меня, а я на тебя – чем сильнее ты удивлялся, ужасался, тем мне было приятнее. Извращение какое-то. Тебе так не кажется? Я бы привлекла тебя, если бы не мои, так сказать, особенности? Если бы я была обычной? – Инга буравила его взглядом. Он терпеть не мог, когда она на него так смотрела. Не моргая. Как у нее это получалось? Она лежала голая, полностью от него зависимая в тот момент. Как и много лет назад, она не стеснялась своей наготы, что его потрясло. Он всегда стыдливо прикрывался простыней.

На своих многочисленных эскизах Виталий пытался набросить хотя бы кусок ткани на ее грудь, бедра. Пусть намеком, но прикрыть эту нагую, беспардонную наготу. Но так и не получилось. Инга на рисунках могла быть только голой. Никакого поворота ноги, положения тела, скрывавшего срамоту, руки, будто случайно прикрывшей грудь, эскиз не допускал. Виталий злился, хотел порвать рисунок, но не мог. Он хранил их все. Старая папка с истрепавшимися углами, на завязках, превратившихся со временем в нитки, уже не вмещала все наброски. Но он не хотел заводить другую. Потом пришлось. Он никогда и никому эти рисунки не показывал. Никому, кроме Инги.

Сколько времени спустя она позвонила? Прошел год с небольшим. Он уже не ждал ее. Не отчаялся, не смирился – просто устал. Не каждому человеку дан дар ожидания. Далеко не каждый умеет терпеть разлуку. И не каждый готов к тому, чтобы жить лишь надеждой. Виталий тогда окончательно перебрался в бабушкину квартиру, забрав остатки вещей, которые Лена выставила на лестничную клетку. Он не открывал сумку. Дошел до ближайшего мусорного контейнера и выбросил. Вместе с Леной и неудавшейся попыткой семейной жизни.

К телефонным звонкам Виталий успел привыкнуть – часто звонили по работе заказчики, и он уже не дергался от каждого звонка. Сердце не рвалось на части. И оттого сильнее было потрясение, когда он услышал в трубке ее голос.

– Привет. Весна наконец наступила. У тебя как, окна грязные? А я помыла. И сразу же пошел ливень. Помнишь, как ты жаловался, что тебе не хватает света? – рассказывала она, будто они расстались буквально вчера.

– Это ты? – У Виталия пересохло во рту. Он еле ворочал языком.

– А ты ждал звонка от кого-то другого? – усмехнулась Инга. – Ну, прости. Просто посмотрела сегодня на окна без занавесок и тебя вспомнила. Вот решила позвонить.

– Я ждал. Тебя, – промямлил Виталий. – Приедешь?

– Когда? – легко спросила Инга.

– Когда можешь? – Виталий боялся сказать лишнее.

– Сейчас могу, – ответила Инга. – Через час буду. Если, конечно, хочешь.

– Хочу...

В тот день, когда Инга появилась в его квартире, Виталий сделал то, о чем раньше и помыслить не мог. Достал папку, в которой хранил наброски, дернул неудачно завязку, вырвав с корнем, и рисунки разлетелись по полу. Он кинулся их собирать, и в этот момент Инга зашла в квартиру. Он специально оставил дверь открытой. Конечно, Виталий не стремился произвести на нее впечатление. Не мечтал увидеть ее восторженный взгляд – он наблюдал, как она берет один лист, рассматривает, откладывает в сторону, потом другой. И уж тем более не предполагал, что она сядет на кровать и весь вечер будет рассматривать его наброски. Свои части тела – от пальцев до шеи.

– Что ты хочешь? – иногда спрашивала его Инга в моменты близости.

Он хотел одного. Это было его тайное, самое запретное желание. Самая неприличная мысль, сидящая в голове. Самое недозволительное, выходящее за все рамки извращенное желание, в котором он не мог признаться. Позже окажется, что так и не признается: чтобы она наконец обняла его, поцеловала по-другому – с нежностью, исходящей изнутри, из желудка, которую нельзя сыграть или симитировать, как наслаждение. И сказала, что он гений, настоящий. А потом поцеловала бы его руку, ладонь с внутренней стороны. Прижала к своей щеке и снова поцеловала. Он мечтал, чтобы хоть раз она поцеловала его ладони в знак благодарности, нежности, восхищения, признания.

Как он когда-то целовал ее ступни. Каждый палец. Когда удалось сделать набросок, от которого ему хотелось плакать, настолько рисунок соответствовал действительности. Идеальный. Не придраться. Написанный по памяти. И потом он целовал каждый ее палец, каждую фалангу с признанием – он изобразил все так, как есть.

– Чего ты хочешь? – спрашивал Виталий в каждую их встречу.

– Нежности, откровений, ласки, – неизменно отвечала Инга.

– Все этого хотят. А конкретно? – требовал Виталий.

– Скажи, что ты меня любишь, – как-то неожиданно попросила Инга. Он оказался к этому не готов и замешкался. Не смог ответить сразу же. Пошел варить кофе.

И она... пропала на два года. Два мучительных для него года.

За это время он написал ее почти всю – живот, пупок, внутреннюю поверхность бедра, руки от локтя до запястья и отдельно от локтя до плеча.

В тот день, когда Инга вдруг появилась и увидела разбросанные по полу эскизы, рисунки акварелью, маслом, графитом – свои колени, шею, нос, – она так ему ничего и не сказала. Просидев несколько часов над его работами, она отбросила последний эскиз, вскочила и молча ушла.

Их связь была ненормальной, мучительной. Они встречались, были любовниками уже сколько... пятнадцать лет? Он ничего про нее не знал. Она же, казалось, знала про него больше, чем он сам про себя. Годы бежали слишком быстро. Быстрее, чем развивались их отношения. Да и как можно было назвать их редкие встречи отношениями? Странная, противоестествен-

ная зависимость. Сексуальное влечение? Инга была родной – по запахам, ощущениям, дыханию, телодвижениям. Тем человеком, с которым хотелось умереть в один день, обнявшись в последний раз. На одной кровати, застеленной старой простыней. Лежать голыми и знать, что умираешь.

– Что ты в этом понимаешь? – разозлился Виталий. – Это мой сын. У тебя ведь нет своих детей.

– Никогда, слышишь, больше никогда ни одной женщине не говори такое: что она могла стать матерью, но этого не случилось. Это самое страшное, что можно произнести, – тихо сказала Инга.

– Зачем ты пришла? Зачем опять появилась? Почему ты надо мной издеваешься? Зачем я тебе сдался? Ты можешь со мной просто поговорить?

Виталий уже не кричал, а орал. Ему было так больно, что хотелось проорать эту боль. Неужели Инга не видит, не чувствует, что ему плохо, и сознательно его добивает? Или она ему так мстит? За что?

– Мне пора. Правда. – Инга спокойно начала одеваться.

– Зачем я тебе был нужен все эти годы? Скажи. – Виталий вырвал из ее рук лифчик, который она собиралась надеть.

– А я тебе зачем? – ухмыльнулась она.

Она знала, что обрекает его на настоящий ад. Тот, в который его хотела отправить Лена, – мучиться каждый божий день, страдать так, что хочется выйти в окно от бессилия и невозможности все исправить. Он был обречен думать о нерожденном ребенке. И пытаться его написать, как все эти годы писал женщину, так и не ставшую матерью. Представлять, от кого из родителей что ей передалось. Потом, когда Инга уже ушла, он взял карандаш и не смог сделать набросок. Рисовать детей он не умел. Подсознание выдавало херувимов, пухлых младенцев с картин великих мастеров. Реальных, настоящих детей Виталий никогда не писал. И, наверное, в тот момент он понял Лену, оказавшуюся одной с больным ребенком на руках. Лена не знала, что делать, ей было страшно. И этот страх Виталий вдруг почувствовал. Он не мог даже сделать набросок того, что легко рисуют уличные художники разной степени таланта, профаны-самоучки, непризнанные гении: пухлых детей, непременно кудрявых и румяных, с гипертрофированными складками-перетяжками и круглыми, как блюдца, глазами. Одинаковых. Написанных, как под копирку. Виталию в голову не приходило рисовать новорожденного Лерика. Или Лену, кормящую сына грудью. Все банальные сюжеты, просившиеся на карандаш, он не использовал, потому что просто их не замечал. Не видел ни красоты, ни нежности, ни особого таинства – сакрального, потустороннего, которое хранят в себе только новорожденные младенцы и кормящие матери.

Виталий схватил Ингу за руку. Сжал. Больно. Специально.

– Ты не уедешь. Слышишь? Ты не можешь! – закричал он.

– Уеду. Могу, – пожала плечами она. Не вырывала руку, хотя он сжимал все сильнее. Хотел, чтобы остался синяк. Не кричала: «Отпусти, мне больно», – чего он добивался. За это спокойствие, равнодушие он был готов ее задушить. Еще полчаса назад, когда они лежали в кровати, он мог сделать это спокойно. Сжать руками горло, и все. А потом писать ее тело сколько влезет. Пока оно не начнет разлагаться.

– Гусь, пожалуйста, я тебя умоляю... – Виталий отпустил ее руку, сполз по ней, обнял колени. – Не мучай меня. Ты же знаешь: кроме тебя, никого... никогда... Я не выдержу без тебя.

– Мне пора, правда, – спокойно ответила она. – Гусь... Надеюсь, так меня никто больше не будет называть.

Виталий дернулся, как от пощечины, и отстранился.

В детстве, сколько он себя помнил, его все звали «Виталик – в жопе сандалик». Иногда сандалик менялся на рогалик или шарик. Взрослые чаще всего называли Витей. Его просто корежить начинало. Бабушка так и вовсе звала Володей, потом поправлялась, извиняясь.

Мама звала его Викусей, а та же бабушка, измучившись с Володей, обходилась без имени, обращаясь к нему или в третьем лице, или ласковыми «котенок», «малыш». Но неизменно возвращалась к «Володе», «Володечке».

Неистошимым на прозвища оказался отчим, который появился ненадолго, но засел в памяти Виталика на всю жизнь. Каждый день он называл его новым именем: «Виташа – манная каша», «Виташа-какаша» и «Виталина-чипалина». Позже добавилось «Витусик-пидарусик». «Виталя-педаля» или «Виталик-кошмарик» можно было считать безобидными нежностями.

Помимо коверкания собственного имени Виталий с детства слышал фразы: «Что с тобой не так?» или «Почему ты не можешь быть нормальным?».

Он точно помнил, когда появились эти попреки: в детском саду, в средней группе. С того случая, когда он попросил Машеньку примерить ее юбку во время тихого часа. Машенька не возражала и попросила в обмен примерить штаны. Воспитательница так их и застала. Но Машеньку ругать не стали, а Виталику (та воспитательница называла его Витюсей) досталось по полной. Когда за ним вечером пришла мама и позвала: «Викуся», – воспитательница подскочила, отвела ее в угол и долго что-то шептала. Мама кивала. Виталик, уже одетый, сидел на лавочке и отчаянно потел. Была зима. Мама не любила его ждать, всегда раздражалась, если он не успевал заранее одеться. Виталик в тот вечер даже шарф успел завязать так, как требовала воспитательница, чтобы была закрыта половина лица. «Наглогаетесь холодного воздуха, а мне потом за вас отвечать», – бурчала она, поворачивая детей к себе спиной и туго завязывая шарф сзади под воротником. Так, что вся шерсть с шарфа неизменно оказывалась во рту. Дети сначала учились дышать нечасто, чтобы не задохнуться под шарфом, а после прогулки ковыряли пальцами во рту, чтобы вытащить шерстинку или нитку. Пока мама разговаривала с воспитательницей, Виталик едва дышал.

– Пойдем, дома поговорим, – строго сказала мама.

– Я не могу. Я мокрый, – проямлил Виталик.

– Описался, что ли? – ахнула мама.

– Нет, я под шубой и на голове мокрый, – ответил он.

Воспитательница каждый день твердила им, что, если они будут бегать и вспотеют, не пойдут на прогулку. «Мокрыми я вас не поведу! Заболеете, а мне потом отвечать!» Виталик не хотел еще больше расстраивать воспитательницу, поэтому признался маме, что вспотел.

– Вот видите? И так все время! Не понимаю, почему он не может быть нормальным! Примите меры! – воскликнула воспитательница.

Мать кивнула.

Она тогда поставила Виталика в угол и сказала, что он простоит там до утра, пока не осознает свое дурное поведение и не извинится как положено. Если же еще раз хотя бы приблизится к Машеньке или любой другой девочке, она его отлупит ремнем. И если не станет вести себя нормально, то тоже отлупит. Виталик хотел и осознать, и вести, и извиниться «как положено», но не знал, что именно надо делать.

А уже через неделю после этого случая в их квартире появился дядя Игорь. И не ушел, а поселился. Мама забрала из комнаты Виталика тумбочку, в которой хранились игрушки, альбомы для рисования и пластилин, заявив, что дяде Игорю она нужнее. Большую часть платяного шкафа, стоявшего в комнате Виталика, тоже заняли вещи дяди Игоря. А шорты, рубашки, носки Виталика были утрамбованы на самую нижнюю полку. «Тебе будет проще их доставать», – объяснила мать.

Дядя Игорь принес торт, они сели пить чай – мама достала из серванта парадный сервиз с желтыми цветами. Виталик хотел скovyрнуть кремовую розочку, как делал всегда, и мама не возражала, но она вдруг шлепнула его по руке.

– Как ты себя ведешь? Что о тебе подумает дядя Игорь?

Мама торжественно объявила Виталику, что он теперь должен слушаться дядю Игоря, потому что тот ему вроде как папа. Виталий слышал разговор мамы с бабушкой – что-то про «мужскую руку», «пример перед глазами» и прочее. Бабушка категорически возражала. Мама твердила, что это «ее дело» и «ее жизнь».

Отчима Виталик возненавидел с первого же вечера. Даже больше, чем соседа Кольку, который был тремя годами старше и натравливал на Виталика Пирата – здоровенного пса неизвестной породы. Пират знал только одну команду – «фас». Рвался с длинной веревки, замаявшей поводок, скалил пасть, лаял так, что соседи с первых этажей открывали окна и орали: «Колька, угомони Пирата, или мы живодерку вызовем!» Колька же подкарауливал Виталика и говорил Пирату «фас». Виталик застывал на месте. Сосед умело регулировал поводок, то подпуская Пирата поближе, чтобы Виталик прямо перед собой увидел клацающую зубами морду, то, наоборот, отгоняя его от мальчика.

– Ну что, Виталик-гениталик, обосрался? – хохотал Колька.

Виталик знал значение всех прозвищ, кроме этого.

– Ну чё, теперь можем говорить с тобой, как мужик с мужиком, – объявил дядя Игорь в первый же вечер. – Не все ж с бабами обсуждать. Так что ты это... не стесняйся.

Виталик посмотрел на мать. Та кивнула. Мол, можно.

– А что такое гениталик? – спросил Виталик.

Дядя Игорь не просто рассмеялся, а загоготал. Виталик смотрел, как изо рта дяди брызжет слюна, вываливаются куски непрожеванного торта, и не понимал, почему он должен слушаться этого человека. И почему мама тоже подхихикивает и не замечает, что от этого человека плохо пахнет, что он хуже Кольки и Пирата, вместе взятых. Хуже Стасика, который с увлечением поедал собственные козьявки. Хуже Машеньки, которая жевала собственные волосы – засовывала в рот конец косички и мусолила во рту, когда рисовала. Хуже воспитательницы, которая стала еще сильнее затягивать на нем шарф перед прогулкой.

Но совсем плохо стало потом. Дядя Игорь заходил в комнату к Виталику, брал его солдатиков, расставленных в определенном порядке, и начинал «играться». Один солдат бил другого, и дядя Игорь говорил «вот тебе, сволочуга», «получай, гад». Поиграв, дядя Игорь отлучался ненадолго на кухню, но возвращался, чтобы продолжить игру. После отлучек он становился все краснее, от него все хуже пахло, а «гад» и «сволочуга» сменялись другими словами, про которые Виталик знал, что они плохие и их нельзя произносить. Он сначала переживал, что дядя Игорь сломает солдатика, а потом понял, что надо просто переждать: дядя гудел, изображая самолет, или орал «бабаааах», будто выстрелил танк, рисовал схемы сражений и тщательно раскрашивал стрелки, откуда должно начаться наступление.

– Ну что, хорошо поиграли? Пойдемте ужинать, – звала их на кухню мать. Видимо, эти игры и должны были сделать из Виталика настоящего мужчину.

Он заметил, что мама изменилась. Она будто стала такой же, как дядя Игорь: неприятной. Стала громче говорить, смеялась по-другому – резко, грубо. Готовила на ужин сосиски с макаронами, которые так любил дядя Игорь и терпеть не мог Виталик. Его начинало тошнить от одного запаха варящихся сосисок. А еще оттого, как дядя Игорь и мама их едят – натывая на вилку целиком. И переваренная, лопнувшая сосиска свисала с вилки. Виталик отводил взгляд – сосиска казалась ему отвратительной, как и вдруг изменившаяся мама. Она стала иначе причесываться, одеваться, накладывать макияж. Сменила духи. Так сильно душилась, что Виталик задышался от запаха, начинал кашлять.

Мама перестала его целовать перед сном, и он был этому только рад. Она пахла дядей Игорем – так Виталик называл этот новый аромат.

Он пошел в школу. Первый и второй классы почти не помнил. Они перешли из садика в школу почти всей группой. Машенька разрешала заглянуть себе под юбку всем желающим. Стасик все так же ел козявки, но делал это уже тайно. Пират сдох, и Колька гулял с новым псом, Матильдой. Дрессировал ее на команду «фас», но та оказалась не способна на агрессию. По команде кидалась, ставила лапы на плечи того, кого должна была загрызть, и облизывала с ног до головы. Того, кто хоть раз почесал ее за ухом или по пузу, Матильда запоминала и встречала радостным лаем и активными облизываниями. Сколько Колька ни орал «фас», Матильда падала на спину, подставляя пузо для чесания. Виталика Матильда обожала.

Он возвращался из школы и увидел, как в подъезд заходит женщина. Со спины – вылитая мама.

– Мам, подожди! – крикнул Виталик.

– Вырастешь, можешь звать меня мамочкой, – хохотнула, обернувшись, женщина. Соседка. Про нее говорили, что она работает шалавой. Виталик не знал, что это за профессия, но догадывался – что-то неприличное, стыдное. Опять же не знал, как это склеить в голове с вколоченным намертво еще в детском саду: «Все работы хороши, выбирай на вкус».

Виталик густо покраснел. Он зашел в лифт с соседкой, хотя долго возился с почтовым ящиком. Но лифт спускался медленно, а Виталик не хотел столкнуться на лестнице с пьяным дядей Петей, который лежал в собственной моче между третьим и четвертым этажами. Дядя Петя, казавшийся мертвым, однажды очнулся, когда Виталик пытался через него переступить, и вдруг больно схватил его за ногу. Виталик от неожиданности упал, прямо в мочу и рвоту дяди Пети. Тот пьяно захохотал и отрубился. Виталик долго отмывал свои штаны и рубашку в ванной, тер себя губкой, но так и не смог стереть с одежды запах блевотины и испражнений. Те брюки с курткой он больше не надевал, засунув подальше в шкаф.

Лишь поэтому он зашел в лифт с соседкой. Стоял, вжавшись в стену, смотрел в пол. Но та вдруг наклонилась, подняла ладонями его лицо и уткнула в ложбинку между грудями. Виталик задохнулся – от неожиданности, приторного запаха. Почувствовал, как намокли брюки. Моча все лилась, пока не начала капать на пол. К счастью, соседка этого не заметила, рассмеялась и вышла на своем этаже.

Войдя в квартиру, Виталик бросился в ванную, чтобы содрать с себя штаны.

– Викуся, а поздороваться? – окликнула его мать из кухни.

– Привет. – Виталик заглянул на кухню и увидел мать, с той же прической, что и у соседки. Почувствовал запах тех же духов.

– Сядь, поешь, разогреть не буду, – велела мать.

Виталик сел за стол, чувствуя, как штанина приклеивается к ноге. Как запах мочи смешивается с запахом сосисок. Он не сдержался. Двинул тарелку от себя. Отбросил на край стола. Сосиска вывалилась на стол.

То, что произошло дальше, он помнил кадрами, как в кино. Он сидит в ванной, без воды, а дядя Игорь лупит его по голове. Виталик прижимает руки к голове, но не пытается увернуться от ударов. Но главное, он совершенно не помнит, как оказался в ванной. Следующий кадр – он лежит в постели, в своей комнате. Кто-то подходит, трогает его лоб и уходит. Не мама точно. Запах другой. И рука чужая, мужская. Следующий кадр – дядя Игорь ставит чашку с чаем на его тумбочку и уходит. Виталик засыпает – запах чая его успокаивает. Просыпается оттого, что его трогают совсем чужие руки – уверенные, быстрые, теплые. Он заставляет себя открыть глаза, но видит только что-то белое. Запах ему нравится – пахнет чем-то чистым. Слышит разговоры – мать что-то лепечет шепотом, женский голос говорит строго, жестко. Виталик заставляет себя прислушаться к разговору.

Строгий голос настаивает на госпитализации – у ребенка может быть черепно-мозговая травма. Мать шепчет, что не знала, не видела, не понимает, как такое произошло. Виталик знает, что мама врет. Он вдруг вспомнил. Дядя Игорь несет его на руках в комнату, мама сидит на кухне.

– Кровищу там замой, – кричит дядя Игорь, и мать послушно берет тряпку и идет в ванную.

Виталик пытается что-то крикнуть маме, но не может. Хочет сказать, что ему больно, но видит только материнскую спину. Мать оттирает кровь в ванной.

– Наверное, поскользнулся и упал, – говорит мама врачу.

Врач не отвечает. Уходит, громко хлопнув дверью.

Виталик открывал глаза, закрывал. Не помнил, сколько прошло времени. Очнулся от запаха. Собственного. Запаха немывтого тела. Ему стало противно. Нечем дышать.

– Маам, – позвал он, но никто не ответил.

Он заставил себя спустить ноги с кровати – голова закружилась. Наверное, как-то смог добраться до ванной и лишь тогда снова потерял сознание. Очнулся оттого, что кто-то пытался его поднять. Слабые руки тянули его вбок, а не вверх. Запах. Бабушкин. Она плакала и повторяла: «Вставай, малыш, давай, зайка, поднимайся, давай».

Виталик заставил себя очнуться. Запах земляничного мыла. Таким только бабушка пользовалась. Бабушка его мыла, терла мочалкой, поливала из душа. Виталик не стеснялся бабушкиных рук. Ему стало хорошо и спокойно. Бабушкины руки защищали. Виталик хотел продлить мытье хотя бы еще на некоторое время. Чувствовать, как на голову льется вода. Как бабушка трет его нежно и в то же время сильно. Она его терла и терла, будто стараясь смыть с него болезнь, боль, обиду. Намывивала губку и снова терла. Спускала набравшуюся в ванную воду и снова набирала. Виталик видел, что бабушка вся мокрая не от воды, а от слез – его и своих.

А потом дядя Игорь пропал. Мама сказала, что Виталик должен о нем забыть, будто его никогда и не было.

– Это потому, что он меня избил? – спросил Виталик у матери.

– Не выдумывай. Он тебя никогда пальцем не трогал, – резко ответила мать.

Виталик точно помнил момент, когда заболел – декабрь. Было холодно. Он должен был участвовать в школьном концерте по случаю Нового года. Учительница велела придумать и сшить дома костюм Снеговика. Мать сказала, что не собирается «участвовать в этой вакханалии». Виталик понял лишь то, что мама не хочет шить костюм, а значит, роль Снеговика ему не достанется, о чем строго предупредила учительница.

Как-то все решилось само собой. И костюм Снеговика вдруг потерял то судьбоносное значение, которое имел еще неделю назад. У Виталика обнаружилось воспаление среднего уха. Из-за этого он должен был лежать с компрессом. Ставить компрессы приезжала бабушка. Она резала бинты, макала их в водку, прикладывала к уху – Виталику становилось холодно и противно. Жидкость попадала в ухо, и он ничего не слышал. Но бабушка не разрешала вытереть или попрыгать на одной ноге, чтобы жидкость вылилась сама. Бабушка накладывала на ухо здоровенный комок ваты и обматывала голову Виталика бинтом. Под подбородком завязывала бинт бантиком. И этот бантик резал горло, хотя бабушка говорила, что завязала не туго, еле-еле. Благодаря этому стучащая боль в ухе вроде как отступала на второй план.

Поскольку ему нельзя было гулять, играть, а разрешалось только лежать с компрессом, Виталик стал читать. Или просто разглядывал картинки. Слушал, о чем спорят мама с бабушкой на кухне – они ругались почти все время. Точнее, начинали разговаривать спокойно, но все заканчивалось криком. Бабушка обвиняла маму в том, что та неправильно воспитывает Виталика, «опять его запустила», «не уследила». Мама в ответ кричала, что бабушка может забрать

внука себе, раз она такая умная и все понимает в воспитании. Виталик радовался, потому что с бабушкой ему нравилось больше, чем с мамой, и бабушка пекла вкусные пирожки с вишней, а мама не пекла.

– Чтобы ты хахаля очередного завела? – хмыкала бабушка, продолжая ссору. – Ты же его для себя родила, вот и воспитывай сама.

Как-то, когда Виталик еще ходил в детский сад, он спросил у бабушки, откуда он появился, решив узнать, что такое «родила для себя».

– Твоя мать в подоле тебя принесла, – ответила бабушка.

Виталик кивнул, но про подол ничего не понял. Он решил, что мама его где-то нашла, взяла, положила в подол платья и принесла домой.

В школе его догадка подтвердилась. Виталик решил, что он маме не родной сын. Учительница его невзлюбила – мама Виталика не приходила на родительские собрания, не участвовала в сборе макулатуры, не мыла окна в классе и не откликалась на гневные замечания учительницы в дневнике: «Плохо себя вел на уроке. Хочет показаться сильно умным». «Сорвал урок вопросами».

– Ты что, детдомовский? – вопрошала учительница, когда ни мама Виталика, ни его бабушка не явились на традиционную весеннюю генеральную уборку класса, осуществлявшуюся силами родителей.

Но Виталик не обиделся. Наоборот, все наконец встало на свои места. Он понял, что его оставили в детском доме, откуда его забрала мама. И мама вовсе не его, а просто посторонняя женщина. Тем более что одноклассники успели просветить на тему, откуда берутся дети. Во всех вариантах – «папа спал с мамой, потом у нее вырос живот, и меня вырезали оттуда», или «я был у мамы в животе, а потом вылез через то отверстие, которое бывает только у девочек», или «папа поцеловал маму, потом она уехала в больницу, долго мучилась, кричала, а потом я родился».

Ни в одной из версий не фигурировал пресловутый «подол», в котором приносят детей. Папы же, который фигурировал во всех рассказах знатоков, у Виталика не было. Он предпринял последнюю отчаянную попытку уточнить свое происхождение и спросил у бабушки, лежала ли мама когда-нибудь в больнице.

– Да ей хоть поросят об лоб бей, – ответила бабушка.

Виталик про поросят не понял, но ответ получил – значит, мама в больнице не была и его там не рожала, крича и страдая.

Возможно, Виталик бы еще помучился сомнениями, если бы мать сама не подтвердила его догадку. Они играли на перемене в сифу – бросались мокрой тряпкой с доски. Виталик кинул тряпку в тот момент, когда в класс вошла учительница, и сифа прилетела ей прямо в грудь, оставив пятно на белой блузке. Мальчишки загоготали, чем еще больше разозлили учительницу. Та и без того Виталика недолюбливала и придиралась по каждому поводу. А тут появился реальный повод его наказать.

– К директору. Сегодня же, – процедила она сквозь зубы. – И, пока мать за тобой не придет, из школы не выйдешь.

Что уж там учительница наговорила директору, но матери на работу звонила секретарь директора и строго велела явиться. Виталик понуро сидел на стуле в приемной. Хотелось в туалет, живот мучительно крутило, но под строгим взглядом секретаря он не решался даже на миллиметр подвинуться на стуле.

Мать провела у директора всего несколько минут. Но, видимо, ей этого хватило.

– Сдам тебя в детдом. Пусть тебя государство воспитывает, – заявила она уже на улице.

После этих слов Виталик стал относиться к матери как к чужой женщине. И ему вдруг стало легче. Стало все равно, как мать пахнет, как выглядит. Она уходила куда-то почти каждый вечер, оставляя его одного в квартире.

– Можно я оставлю свет в коридоре? – просил Виталик.

– А за электричество ты будешь платить? – рявкала мать и щелкала выключателем. Виталик не мог уснуть в полной темноте, в пустой квартире. Даже если ему удавалось задремать, он просыпался от звука хлопнувшей двери – мать вернулась. Лежал и прислушивался к звукам – пошла в ванную, уронила что-то, окно от сквозняка хлопнуло. Утром он вставал разбитый, с дурной головой. На уроках спал. Тройки ему ставили уже из жалости. Даже учительница сменила гнев на милость и перестала придирааться. Виталик выглядел больным ребенком – истощенный, с синевой под глазами, худой, бледный. От физры его негласно освободили после того, как он дважды потерял сознание прямо на уроке. Медсестра сокрушенно качала головой.

– Скажи маме, что тебе нужно хорошо питаться и пить рыбий жир. А еще гематоген. Понял? – говорила она.

– Да, – отвечал Виталик.

– Мам, мне нужно пить рыбий жир и есть гематоген. Медсестра в школе сказала, – передавал он матери.

– Больше ничего не нужно? Может, икру черную и севрюгу? Нет? Мне бы кто коньяк прописал... от нервов и от жизни этой скотской, – отвечала мать.

Где-то классе в шестом Виталик вдруг решил во что бы то ни стало завоевать любовь матери. К тому времени он уже разобрался, что дети могут появляться не только при наличии папы, но и от «залета». Что это значило, он не вполне четко представлял, однако усвоил, что отец в этом процессе не требуется. В классе были дети, у которых сначала был папа, а потом его вдруг не стало. А еще была Машенька, та самая, из детского сада. Ее отправили в детский дом. Ее родители погибли в автомобильной катастрофе, а других родственников не нашлось. Машеньке классная руководительница устроила торжественные проводы. Каждый должен был принести или игрушку, или что-то нужное для учебы, или книжку. Подойти, вручить подарок, обнять Машеньку и пожелать счастья. Классная поставила ее перед доской, а всех детей выстроила в очередь. Машенька стояла и тихо плакала. Все сначала подходили к учительнице, показывая подношения. Некоторые вещи та откладывала на стол с комментариями: «Это что? На тебе, боже, что нам не гоже?» – и подноситель должен был покраснеть и отойти в сторону, лишившись права обнять Машеньку. Виталик оказался в числе тех, чей подарок оказался недостаточно хорош. Машенька, увидев, как учительница брезгливо крутит в руках подарок Виталика и бросает его на свой стол, наконец разрыдалась. К счастью, мимо проходила завуч, зашла на странные звуки, раздававшиеся из кабинета, и прекратила эти похороны живого человека.

Виталик потом совершил преступление – украл с учительского стола свою поделку. Впрочем, она этого не заметила. Для Машеньки он разломал калейдоскоп, чтобы добыть разноцветные стеклышки, и наклеил их на обычное дорожное зеркальце, складное. Зеркальце ему подарила бабушка, когда он болел, и научила пускать солнечных зайчиков, ловя лучи. Клей Виталик выпросил у трудовика, соврав, что хочет починить сломанную полку в шкафу. Зеркальце получилось прекрасным – сверкало стеклышками, будто мозаикой, которая меняла цвет.

Виталик, глядя на собственное творение, вдруг понял, что дети в детский дом попадают не просто так, а лишь в том случае, если у них нет родных. У него же была не только мама, но и бабушка. А это означало, что он не мог быть детдомовским.

Пока другие мальчишки соревновались в завоевании сердец одноклассниц, Виталик решил завоевать сердце собственной матери, которая оказалась не чужой, а родной. Он начал хорошо учиться, когда все одноклассники съехали на тройки. Записался в кружок моделирования, где можно было часами клеить самолеты или корабли. Виталику понравились самолеты, но те, которые походили на птиц. Его привлекали не сложные конструкции, оснащенные моторчиками, а легкие аппараты, повиновавшиеся ветру. Мама не выразила особого восторга,

когда Виталик принес ей первый самостоятельно сделанный самолет. Когда принес второй, третий, мама сказала, что скоро он захламит ими всю квартиру. Он пытался объяснить, что в первом самолете крылья тяжелые, а в третьем – уже легче, тоньше, но все еще не идеальные. И нос в первом не такой, каким должен быть. Да и в третьем тоже хочется сделать поострее. Матери было неинтересно.

Взрослея, Виталик анализировал свои чувства. И вдруг понял, что маму он любит. Да, по-своему, но безусловно. Чувство было непреходящим, не таким, как к грациозной Леночке, танцевавшей в ансамбле народного танца. И не таким, как к Катюше с ямочками на щеках, всегда доброжелательной, неизменно улыбчивой и открытой всему миру. В них он влюблялся на день, два, неделю. Но все чувства пропускал не через сердце, а через голову. Леночка, пропущенная через голову, оказывалась столь же недалекой в чувствах, эмоциях и мечтах, сколь и грациозной. Видимо, все уходило в танец, оставляя реальности лишь прекрасную и пустую оболочку. Катюше же было все равно, кому улыбаться и к кому относиться доброжелательно. В своей доброте и отзывчивости она нравилась прежде всего себе. Остальные были лишь подтверждением ее исключительности. Катюшины ямочки стали в его глазах глубокими, отвратительными ямами.

Пропустив маму через голову, он принял решение, что ее надо любить – ведь она о нем заботилась, лечила, кормила. По мере своих сил, возможностей и душевных запасов, оказавшихся скудными. Возможно, даже испытывала более сильные чувства – привязанность, страх, ответственность. Наверное, на большее она просто была не способна. Как Леночка, не умевшая в танце передать трагедию, боль, страсть, из-за чего лишилась главной партии в постановке «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Или Катюша, готовая без устали поливать и протирать влажной тряпочкой цветы, стоявшие на подоконнике в классе, и рыдать над каждым засохшим листочком. А уже вечером отнести любимую кошку, прожившую в семье девять лет, на усыпление. Лишь потому, что та стала часто болеть, плохо есть, линять и требовать ухода.

– Она же уже старая. По человеческим меркам ей пятьдесят два года! – рассказывала Катюша.

– Моей бабушке уже шестьдесят пять. Ее тоже надо усыпить? – уточнил Виталик. Катюша уже для него перестала существовать.

– А что, бабушек тоже можно усыплять? – с неподдельным интересом спросила Катюша. – Я бы свою усыпила. Она вообще ничего не помнит. Даже как меня зовут. И в кровать писается, как маленькая. Мама ей детское яблочное пюре покупает и кормит с ложечки. Не понимаю, зачем мы ее держим?

Виталик решил, что мама заслуживает любви, и старался ее дать – через боль, обиды, пробиваясь через материнское равнодушие и отстраненность. Только одного Виталик не мог понять: почему ему казалось, что бабушка, теперь уже почти все время называвшая его Володей, всегда причитавшая, когда мама просила ее посидеть с заболевшим Виталиком: «За что мне такое наказание?» – его любила. А мама, которая могла не замечать его неделями, а потом в приступе нежности сюсюкаться и называть «Викусей», не любила. Что-то было в бабушкином «Володе» искреннее. Она смотрела на Виталика с нежностью, обнимала, прижимала к себе по-настоящему, от всего живота. Виталик для себя придумал такое выражение: «обнимать от живота». Ему настолько было приятно утыкаться лицом в бабушкин живот, что хотелось туда врасти. Бабушкин живот давал защиту, спокойствие, уверенность. Снимал страхи и тревоги. Так что Виталику было все равно, как его называет бабушка, – хоть Петей. Он готов был отзываться на любое имя, как пес, который любит хозяина, пусть и неласкового, до собачьей истерики и дрожи в ногах.

От матери же всегда несло холодом. И ее «Викуся» звучало будто кто-то начинал ковырять в голове тупым ножом. Боль была как в том декабре, когда болело ухо и стреляло где-то внутри и глубоко. Так, что слезы лились градом, а голову хотелось оторвать. Но Виталик ока-

зался упертым мальчиком. Дал самому себе слово полюбить маму сильно, вопреки всему, даже вопреки этой разливающейся боли. Потом решил, что полюбит хотя бы на чуть-чуть. Позже пытался выдать из себя хоть какие-то теплые чувства, пока наконец не признал, что иногда любить просто невозможно, даже близкого человека.

– Ну что с тобой не так? – опять причитала мать, когда Виталик отказывался пробовать что-то новое из еды. – Все нервы своими капризами мне истрепал.

Его рацион оставался традиционным и достаточно скудным. Он мог есть котлеты, пюре, куриный суп, макароны. Но куриную ногу в себя впихнуть был не в состоянии, потому что ему не нравился вид ноги и то, как ее называла мама: «ножка». Куриные крылья он отвергал по тем же эстетическим соображениям. От печени и прочих субпродуктов, которые очень любила мать, Виталика начинало тошнить. Как-то от бабушки он услышал название: «потроха», и ему оно показалось гадким. Один раз мама, наготовив целую сковороду печени в сметане, решила заставить Виталика пусть не съест, но хотя бы попробовать. В своем стиле, конечно же. Она взяла ложку, зачерпнула из сковороды и велела Виталику открыть рот. Тот помотал головой.

– Немедленно открой рот. Я тебя из кухни не выпущу. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Мне надоели твои капризы и закидоны. Все дети как дети. Едят, что дают. Один ты кочевряжишься над тарелкой. Открой рот, я сказала.

Виталик приоткрыл рот, помня, что маму решил любить и не огорчать, и тут же ложка больно стукнула по зубам.

– Только попробуй выплюнуть, – пригрозила мать. Виталик держал во рту месиво столько, сколько мог. Потом его вырвало. Фонтаном. Мать так опешила, что застыла на месте. Виталик сбежал в ванную, где долго чистил зубы и полоскал рот.

Щи ему не нравились из-за капусты. В этом точно были виноваты учительница и бабушка. Учительница всегда говорила нерадивым ученикам: «У тебя вместо головы кочан капусты!» А бабушка как-то рассказала приболевшему в очередной раз Виталику сказку на ночь. Мол, в древние времена существовал город, куда ехали люди, недовольные своей внешностью. В городе жили пекари, которые из муки и воды пекли людям новые головы. Для начала старую голову отрубали, а на ее место приставляли кочан капусты, чтобы вся кровь из тела не вытекла. Кочан символизировал «пустую» голову. Отрубленную голову отдавали пекарям, которые пекли для нее новое лицо. После этого голова отправлялась на выпечку и потом пришивалась хозяину. Но голова, как часто бывает с хлебом или булочками, могла и не пропечься. Тогда человек оставался на всю жизнь дурачком. Но новая голова могла и слегка перестоять в печи, тогда человек становился безрассудным, даже опасным с «горячей головой». Хуже всего было, если новое лицо расплзлось в процессе. Тогда человек оставался уродом на всю жизнь.

– Мораль сей сказки такова – сначала подумай, а потом делай, – сказала бабушка.

Всю ночь Виталик мучился от кошмаров – ему снились то окровавленные капустные кочаны, то ходячие уродцы из теста с изюмом вместо глаз.

Ни щи, ни булки, ни изюм Виталик не ел.

Зато он любил бабушкины супы, всегда сложносочиненные, которые обычно дети терпеть не могут. Виталик с удовольствием ел солянку, в которую бабушка бросала колбасу – какую могла достать, – остатки отварной говядины, дольки лимона и еще не пойми что. Ему нравилась перловая каша во всех видах, даже в супе, а манную он терпеть не мог. Рассольник с солеными огурцами тоже любил. Как и суп с клецками, который варила бабушка. Плавающие в супе куски теста его привлекали отсутствием всякой логики и ровных форм.

Он мог съесть яблоко или банан – по сезону, когда вдруг этот тропический фрукт ненадолго появлялся в продаже. Потом стал есть еще и мандарины, но сначала опозорился. Уже в школе на Новый год всем выдали подарки – конфеты и мандарины. Все одноклассники стали есть мандарины сразу же. Виталик решил быть как все и тоже откусил мандарин. Вместе со шкуркой. Во рту стало кисло и противно. Он оглянулся и с удивлением обнаружил, что одно-

классники запихивают этот мандарин в рот целиком. А на парте лежит шкурка. Виталик догадался – надо почистить, а только потом есть. Он не мог сказать, что мандарин ему понравился, но ему нравилось очищать его от шкурки и белых ниточек-прожилок.

Дома он признался бабушке, что сначала откусил мандарин со шкуркой.

– Разве ты мандарины никогда не видел? – ахнула бабушка. – Дома всегда лежат. Тухнут. – Видел, но не ел, – признался Виталик.

После этого он решил пробовать разные фрукты, овощи и то, что считается вкусным. В рамках социализации и чтобы избежать очередного повода для издевательств. То было хорошее время. Одноклассники дразнили его всего лишь «педалькой» или «сандалькой».

Виталик просил бабушку принести «что-нибудь». Бабушка всегда его понимала и выкладывала из сумки необычное – гранат, тыквенные семечки, грецкие орехи в скорлупе. А однажды принесла настоящий цветок подсолнуха вместе с семечками. Виталик пробовал, не определяя – вкусно, не вкусно, а просто чтобы знать, как есть, чистить, нужно ли выплевывать косточки. Хотя цветок подсолнуха его потряс. Семечки – идеальной формы, как нос самолета. Лунки – прекрасные в своей симметрии, удобстве расположения. Виталик разглядывал цветок, каждую семечку, решив, что сделает самолет похожей формы, а защитный корпус – как лунку. Мягкую, но прочную.

– Зачем ты это тащишь в дом? Он все равно не ест! – возмутилась мама, глядя на то, что бабушка достает из сумки.

– Не съест, так понаядкусывает, – неизменно отвечала бабушка.

Да, она была права. Многие продукты Виталик лишь откусывал, но не мог даже проглотить. Например, хурму. Она вязала рот. Но бабушка принесла ему другую, которая не вязала. Молодые грецкие орехи ему категорически не понравились, а когда бабушка их обжарила на сковороде, показались очень вкусными. Через еду Виталик понял, что может менять и свою жизнь. Что-то добавить, убрать – и получится вполне сносное житье. Так бабушка поступила с зеленым горошком и рисом и с неизменным гарниром к сосискам – пюре. Добавила и рис, и горошек к рыбным котлетам, и те вдруг приобрели другой вкус. Виталик попробовал с опаской, но ему понравилось. Сыр же, который Виталик не любил просто так, без всякой причины, бабушка вдруг пожарила, и Виталик съел его с удовольствием. Тогда же он понял, что бабушка не занимается маскировкой, а просто смешивает разные вкусы, чтобы получился новый. Виталику нравились бабушкины эксперименты, а мама называла их «извращениями». Виталик не знал значения слова «извращение», но интуитивно понимал, что это – плохое занятие. Свою жизнь без бабушки он уже не представлял.

Если Виталик заболел, а болел он достаточно часто, чем тоже выводил мать из себя, она всегда звала бабушку.

– Ты мать. Возьми больничный или отгул! – возмутилась бабушка.

– Он хочет, чтобы ты приехала, – отвечала мама.

– Или ты хочешь? – тут же срывалась бабушка. – Почему я должна сидеть с твоим больным ребенком?

Виталик все это слышал, но совершенно не обижался на бабушку, которая сначала категорически отказывалась ехать, потом кричала, что «только этого ей не хватало – с больным ребенком сидеть, нашли няньку», а потом все равно приезжала. Варил крутой бульон, добавляя в него по вкусу картошку целиком, морковку, тоже целиком, петрушку с укропом пучками. Виталик послушно пил бульон и с удовольствием ел вареную морковку и картошку, плохо почищенную, поскольку та была брошена в бульон не для еды, а для вкуса, а потом шла на выброс. Но Виталику вдруг понравились отварные овощи без всяких специй.

В те годы Виталик бабушку любил безусловно, а маму, которая уходила по вечерам, вдруг стал бояться. Перед выходом она подпиливала ногти, стремясь, чтобы они стали острыми, как сабли, и покрывала их красным лаком. Долго дула, держа грозно растопыренные пальцы. Ино-

гда вдруг обнимала Виталика перед уходом и больно впивалась этими ногтями ему в спину или плечо. Виталик не любил, когда мама его трогала. Боялся, что она проткнет его ногтем, как ножом.

Мать уходила, приходила бабушка, приносила ему в кровать чай с малиной, подкладывала дополнительную подушку, чтобы было легче дышать, бурчала, что мать ушла на «блядки», но Виталик прижимался к бабушкиному животу и замирал. Он быстро шел на поправку, терпя все бабушкины экзекуции – то она мазала его барсучьим жиром, то делала медовую лепешку на грудь. Бабушка свято верила в компрессы, и Виталик все детство проходил обмотанным бинтами, платками, намазанный, засыпанный и залитый всем, чем только можно – от горчичного порошка в носках, поверх которых надевались шерстяные, до горчично-медовых лепешек, требовавших двух разорванных на куски пеленок, шерстяного платка и пухового одеяла сверху.

Виталик не мог признаться, что бабушкин живот греет лучше платков. Когда он болел, его знобило. И только бабушка могла его согреть. Она ложилась рядом и засыпала. Виталик ждал, когда она уснет, и с удовольствием слушал, как бабушка храпит, ворочается, поправляет во сне его конец одеяла, натягивая повыше, вздрагивает, проснувшись от собственного храпа, поворачивается на другой бок. Виталику нравилось болеть.

Запах. Ему нравилось, как пахнет бабушка – ванилью, земляничным мылом, старостью, но не затхлой, а спокойной, уютной, доброй и теплой. Мама же всегда пахла чем-то едким, стойким и удушливым. Виталик, конечно, знал, что это были любимые мамины духи – ужасно дорогие и ценные. Но не понимал, почему ей нравится именно такой аромат.

Когда мама в порыве нежности, всегда неожиданном и непредсказуемом, не пойми с чего нахлынувшем, говорила: «Викуся, ну хоть подойди, обними меня!» – и распахивала руки, Виталик застывал на месте. Ему требовалось совершить усилие – буквально заставить себя подойти к матери и изобразить жалкое объятие. Он задерживал дыхание, чтобы не чувствовать ее запаха. Напрягал спину, чтобы мать не смогла вонзить в него ногти. Старался не прижиматься, чтобы побыстрее высвободиться и сбежать.

Бабушкину шаль, которой она его укутывала во время болезней, Виталик держал под подушкой. Убедившись, что мать ушла, доставал шаль, укрывался ею и вдыхал запах. Лишь после этого спокойно засыпал. Он подолгу носил футболку, в которой лежал во время болезни, – она была пропитана запахом бабушки. Говорил маме, что еще чистая. А если на рубашке оставался материнский запах, Виталик старался побыстрее ее снять и положить в стиральную машинку, зарывая под другие грязные вещи. Но мама как-то заметила.

– Я же эту рубашку только вчера погладила! Зачем ты ее в стиральную машину засунул? – раскричалась она.

И тогда Виталик придумал специально пачкать вещи, на которых оставался запах матери. Та, конечно, ругалась за пролитый на футболку сок, пятно на рубашке, но Виталик готов был терпеть.

Позже, уже в пятом, шестом классах, Виталик вдруг понял, что ведет себя не так, как остальные мальчишки. Если мама или бабушка хотели поцеловать или приобнять сына или внука, ребята вырывались и кричали: «Ну мааам!» или «Бабушка, перестань! Все же смотри!».

Мамы и бабушки тут же прекращали попытки облобызывать или поцеловать.

Виталик долго репетировал, как таким же раздраженным тоном скажет маме, что не хочет с ней обниматься. Но так и не смог. Подошел и покорно обнял, после чего содрал с себя рубашку и залил ее чернилами из стержня ручки. Маме сказал, что «ручка потекла».

От бабушкиных ласк он не был готов отказаться даже в шестом классе.

– Ну что ты как маленький? – удивлялась бабушка и сама пыталась отодрать Виталика от своего живота. – Ты же мальчик, а у тебя все телячьи нежности. Ну ладно бы девочка, – причитала бабушка, но гладила его по голове, чесала спину, целовала в макушку.

Если в младшей школе Виталика считали странным, середнячком и вообще не делали на него ставку, то в старшей вдруг стали замечать. В кружке моделирования его любили и ценили – он выиграл несколько конкурсов благодаря своим моделям самолетов. В школе ему легко стали даваться геометрия, черчение и, как ни странно, история с географией – Виталику было интересно. Одни учителя-предметники говорили на педсовете, что Виталик – средненький ученик, другие – учителя черчения, математики, историчка с географичкой – возражали, что мальчик не просто талантливый, а еще и трудяга. Много берет упорством – учит, старается. Постепенно отношение тех педагогов, кто в Виталика не верил, начало меняться. Он победил в городском конкурсе по черчению. На открытом уроке по алгебре показал себя так, что приглашенные учителя посоветовали ему поступать в спецшколу. Виталик вдруг стал гордостью и надеждой школы. Если не золотую, то серебряную медаль ему обещали твердо. Надо было только подтянуть литературу, биологию и прочие предметы, которые для Виталика не представляли интереса.

Неизвестно, как сложилась бы его жизнь, но мама в разговоре, точнее скандале, с бабушкой сказала, что лучше бы Виталик поступил в профтехучилище. Быстрее бы работу нашел и слез с ее шеи. Бабушка тогда кричала, что Виталик должен поступить в институт и получить «нормальное образование».

– Вот сама его и корми, – ответила мама.

– Ты даже не эгоистка, ты нарцисс! – воскликнула бабушка.

– Ты меня так воспитала. Я всегда была для тебя недостаточно хороша. Что бы я ни сделала, тебе всего было мало. Кому сдалась моя золотая медаль и красный диплом? Да я училась, чтобы ты меня похвалила! Кто я сейчас? Никто!

– То, что ты никто, – исключительно твоя проблема. Значит, это твое место. А за Виталика не решай. Он умнее тебя, пусть и без медали и диплома, – ответила бабушка.

Виталик, чтобы угодить матери, пошел в профтехучилище на чертежное отделение, где ему было скучно. Протянул два мучительных и бессмысленных года и поступил в художественный институт, как мечтала бабушка. В институте стало интереснее, но сложнее – Виталий боялся, что его отчислят. Глядя на работы однокурсников, ощущал себя полным невеждой – не хватало школы, классических навыков. Он ведь по сути был самоучкой. Ни классической художественной школы за плечами, ни преподавателей-репетиторов. Да и училище – так себе образование. Даже в школу учителем черчения его бы не взяли. Виталий будто занимал чужое место и ждал, что рано или поздно до всех дойдет – он никто, и его попросят на выход.

То время он помнил плохо. Будто память вычистила ненужные воспоминания. Позже он восстановил события: тогда все складывалось будто само собой. Чудом. Он сдавал экзамены. Не блестяще, но и худшим на курсе не был. Опять болтался в середнячках, но и это считал счастьем. Его работы постепенно стали отмечать. Преподаватели хвалили за упорство, внимание к деталям, скрупулезность. Да, не видели в нем таланта, даже одаренности не замечали. Но признавали безусловный профессиональный рост, приобретенные навыки. «Не всем дано. Гении не каждый день рождаются. Любая профессия держится на хороших ремесленниках», – твердил заведующий кафедрой Андрей Андреич, который вдруг, по каким-то личным мотивам, встал на сторону Виталия.

– Работай. У таких, как ты, всегда будет кусок хлеба. Пусть гении голодают, – сказал он Виталию после просмотра работ. – Три с плюсом иногда лучше, чем пять с двумя минусами.

Виталий лишь раз получил четыре с минусом и уже сам готов был отчислиться. За годы обучения в него успешно вдолбили лишь одно – он никто, посредственность, подмастерье. И лишь Андрей Андреич его тащил, тянул и отстаивал. Ходили слухи, что и тот был посредственностью, но продвинулся по административной линии – пристраивал, кого нужно, продвигал, кого просили, не спорил, когда не следовало. Шел на компромиссы, выслуживался, юлил и

заискивал. Благодаря этим качествам имел должность, квартиру в центре Москвы и мастерскую на «Соколе», дачу в Подмосковье.

– Скоро вам, молодой человек, предстоит сделать выбор. Главный в вашей жизни. Подумайте об этом уже сейчас. Чего вы хотите? Достатка, благополучия, уверенности в завтрашнем дне? Или плевка в вечность, призрачной надежды на признание через годы? Вы хотите работать или творить? – спросил как-то Андрей Андреевич.

– Конечно, творить, – едва сдерживая слезы, ответил Виталий.

– Да, безусловно. В вашем возрасте сложно дать другой ответ. Вы меня еще вспомните лет через десять, если я доживу, конечно же. Желаю вам удачи в любом случае. Вы по-своему блестящий профессионал. Владеете способностью копировать картины великих художников. Передаете их настроение, эмоции, желания.

– Передаю... их... не свое... – Виталий задохнулся от унижения.

– Поверьте, дорогой мой, это уже немало в нашей профессии! Уметь передавать, писать на заказ, делать блестящие копии. Возможно, вы найдете себя в чем-то другом. Будете рисовать бегемотов и крокодилов для детских книжек. Станете иллюстратором. Или реставратором и поможете сохранять великие картины. Или, возможно, преподавателем, который объяснит ученику, как правильно накладывать штриховку и почему непременно нужно научиться писать кувшин и лежащее рядом яблоко. Поверьте, я устал отвечать на этот вопрос. Все родители спрашивают, почему их чада должны рисовать эти кувшины, бидоны, вазы и стаканы. Возможно, вы станете тем педагогом, который наконец сможет объяснить это родителям. Да, конечно, вы можете преподавать в нашем же институте! Подумайте! Сделайте выбор.

Виталий тогда кивнул и поехал не домой, а к бабушке.

– Ой, а я пирог с маком испекла, – обрадовалась та. Она никогда не удивлялась его внезапным визитам и всегда говорила, что именно сегодня случайно испекла пирог, его любимый, или пожарила его любимые пирожки с яблоками.

Виталик, едва сдерживая слезы обиды, признался бабушке, что никогда не будет признан гением. Что в нем нет даже слабой искры таланта. Он ремесленник. Способен только бегемотов рисовать и объяснять сумасшедшим родителям требования по рисунку, где без кувшина никак. И завкафедрой, сам бездарность, его поддерживает. Лучше смерть, чем такая протекция.

– Что обо мне будут говорить? Это позор... – Виталик устался на кусок пирога, который ему положила бабушка.

– Ничего не будут. А поговорят и забудут. У людей короткая память. Хотя иногда разговоры за спиной лучше, чем молчание. Если говорят, значит, ты интересен. Про твоего завкафедрой тоже небось за спиной судачат, – пожала плечами бабушка.

– Еще как. Но его боятся. У него связи, – выдохнул Виталий.

– Вот тебе и ответ. Пусть говорят, а ты иди своей дорогой.

– Нет у меня дороги, бабуль, понимаешь? Нет. Я не знаю, чего хочу. Все знают, давно определились, один я как дебил какой-то, – признался Виталий.

– Ты так еще молод. Вы все еще дети. А дети бывают разными. Одни точно знают, что хотят машинку или конструктор. Другие соглашаются играть в то, что им предлагают. Третьи вообще не хотят играть, а желают рисовать. Гениев действительно мало. Но еще меньше тех, кто твердо знает, что хочет получить от жизни. Чем заниматься. Ты имеешь право передумать, заняться чем-то еще. Твое рисование ведь не приговор. К мольберту тебя никто канатами не привязывал. Хочешь, задвинь его за шкаф или выброси на помойку и найди себе дело по душе.

Бабушка подарила Виталику на день рождения крупную сумму денег.

– Бабуль, откуда? – удивился он.

– Ну какая тебе разница? Кольцо продала. В гроб его с собой, что ли, брать? И твоей матери об этом подарке знать необязательно. Не выходи из дома без денег. Не занимай ни у

кого. Долги брать легко и ох как тяжело отдавать. Но хуже другое – ходить и знать, что над тобой должок висит, как дамоклов меч. Сам не бери и другим не давай. Ты не такой наглый. Ходить и напоминать не станешь. А уж выбивать тем более. Не вернут. А если и вернут, то с обидой. Есть такая особенность у людей. Дашь займы другу, сразу забудь об этих деньгах. А попросишь вернуть, друга потеряешь. Один раз дашь, второй раз точно придут. Откажешь – обидятся смертельно. Скажешь, что у самого нет, – не поверят. И не жди, что спасибо скажут. Не скажут.

Виталик кивнул, но мать все равно узнала или догадалась. Виталий не считал нужным врать. Когда она спросила, на какие деньги он живет, покупает качественные материалы для работы и откуда в его шкафу две новые рубашки, Виталик честно ответил, что деньги дала бабушка. Конечно, разразился скандал. Мать кричала, что Виталий здоровый лоб и как у него рука поднялась взять деньги у пожилого человека, который живет на пенсию. Она, оказывается, думала, что Виталий подрабатывает, у него много заказов. Он пытался объяснить матери, что для подработки, пусть и самой незначительной, он слишком мало знает и умеет и нужно еще пару лет, чтобы он смог хоть на что-то рассчитывать. Мать не понимала.

Она позвонила бабушке, узнала про кольцо и принялась кричать еще громче. Мол, когда она просила, нуждалась, умоляла бабушку продать кольцо и помочь ей вырастить Виталика, та отказалась. Когда была возможность сменить квартиру на большую, переехать, начать новую жизнь, бабушка не пожелала расставаться с кольцом. А сейчас вдруг – нате, пожалуйста. Что в таком случае ее любимый внучок потом потребует? Квартиру? Или начнет из дома ценные вещи выносить, лишь бы не работать?

– Дура ты, – ответила бабушка. – Не звони мне больше.

Мама и не звонила. Никак не могла простить бабушке кольцо. Хорошо хоть про дарственную на квартиру не узнала. Виталий пришел на кухню и положил на стол остаток денег, которые распределил на несколько месяцев. Сказал матери, что она может забрать все. Но та махнула рукой и деньги полетели со стола. Виталий собрал купюры и снова разложил по месяцам в заранее подписанные конверты – на еду в столовой, на бумагу и краски, на метро, автобус.

Спустя неделю мать сказала Виталию, что готова забрать бабушкины деньги «с кольца». Виталий ответил, что не отдаст. Бабушка запретила.

Он не хотел расстраивать бабушку, только и всего. Так и объяснил матери. Если кольцо – бабушкино, она имела право его продать и отдать деньги кому угодно. Даже показал список того, на что планирует их потратить – на все, что нужно было для рисования. А еще на дополнительные книги для учебы. Две рубашки он купил только потому, что старые стали совсем малы и манжеты истерлись. Ходить в таких стыдно.

Мать подошла и вlepила ему пощечину. Неожиданную, сильную, обидную. После чего сказала, что у нее теперь нет ни матери, ни сына, раз они оба ее предали. Раз бабушка смогла подкупить Виталика, а он радостно согласился. Значит, по логике матери, они ее предали. За ее спиной все провернули. Оставили на бобах, без всего. Копейкой не поделились. На карандаши какие-то, значит, бабушка дала, а ей на жизнь – фигули на рогули. Внуку все, бездельнику, который только рад заграбастать задарма, лишь бы жить на всем готовом, пожалуйста, на блюдец преподнесла. Родной дочери в куске хлеба отказала. Виталик молчал.

– Ответь мне! Скажи что-нибудь! – кричала мама.

– Ты не права, – сказал Виталий и получил еще одну увесистую пощечину.

Он смотрел, как кровь из носа капает на холст с его работой, которую нужно было сдавать через два дня, и понимал, что работа загублена. И чтобы ее переделать к сроку, потребуются сидеть ночами. Но не о бессонных ночах и потерянном времени он беспокоился, а о том, что эта работа была практически идеальной. Можно сказать, безупречной. Он писал ее три месяца. Каждый день. Выписывал каждый штрих, добиваясь идеального исполнения. Виталий

не знал, какой получится новая работа. Сможет ли он повторить все заново. Точнее, прекрасно знал, что не сможет. Не повторит. Слишком много сил и времени ушло на первую. Есть вещи, которые можно повторить, сделать в рекордные сроки, а есть те, что требуют нечеловеческих затрат, внимания, концентрации. Над той работой он практически умер. Выдохся. У него не осталось никаких сил. Он был опустошен. Да, совершенства не достиг, но был близок, очень близок. Виталик заплакал. На лист капала кровь, смешанная со слезами. Краски, еще не сохшие, растекались. Он положил ладонь на холст и растер все, что написал. Смешал с собственной кровью и слезами. Если бы у него спросили, что в его жизни стало переломным, даже судьбоносным моментом, Виталий ответил бы не задумываясь – тот вечер. Когда он размазывал по холсту свою работу.

– Я сделала одну главную ошибку в жизни. Родила тебя, – заявила мать и вышла из комнаты.

Виталий собрал вещи и переехал к бабушке. Мать звонила, устраивала истерики, требовала вернуться, но успокоилась быстрее, чем он ожидал. Бабушка только хмыкнула.

– Все правильно. Так всем будет лучше. Тебе прежде всего, – сказала она. – Не переживай. Все перемелется, как мука. И это тоже. Когда-нибудь ты поймешь, что невозможно изменить другого человека, даже близкого. Остается или смириться, или уйти.

У бабушки Виталику жилось хорошо и спокойно. Он учился, много писал. Утром его всегда ждал горячий завтрак и бутерброды с собой.

– Нечего себе в столовой желудок портить, – повторяла бабушка, когда Виталик просил ее не готовить. – Мне так спокойнее.

Бабушкины бутерброды того времени, оказавшегося для него самым счастливым, он потом готовил себе сам. Любимая еда – эти бутерброды с холодной отварной курицей и огурцом. Или с печеночным паштетом, который бабушка делала сама, и соленым огурцом.

Если первое время у него еще и теплилась надежда вернуться домой, к матери, когда-нибудь, то после того, как у бабушки случился гипертонический криз, Виталик окончательно отказался от этой мысли. Не вернется никогда. Останется с бабушкой. Он вызвал «скорую», врач сделал укол и сказал, что она счастливая бабушка, раз у нее такой заботливый внук. Бабушка под действием лекарств снова называла Виталика Володечкой. Виталик хотел спросить, откуда вообще в бабушкиной голове засел Володечка, но так и не решился.

Конечно, он испугался. Врач выписала рецепт, подробно объяснила, как принимать лекарства, сколько раз в день, какие до еды, какие после. Виталий кивал. Врач велела следить за давлением и отвести бабушку в поликлинику – сдать анализы.

Для Виталия это стало новым испытанием. Он смотрел на свою любимую бабушку, всегда бодрую, успевавшую и пирожки испечь, и в магазин сбегать, и в правление дома забежать – с соседкой-подружкой посплетничать. Когда он просыпался, бабушка уже была на ногах. А когда засыпал, еще возилась на кухне. Виталий даже представить не мог, что она будет лежать, очень хрупкая под тяжелым одеялом, которое, казалось, ее раздавит. Молчать и тихонечко стонать. Он не понимал, не допускал мысли, что бабушка когда-нибудь может заболеть и уж тем более умереть. Нет, это невозможно. Кто угодно, но не она.

Виталию стало страшно. Он сбегал в аптеку, купил лекарства, но выдавить таблетку не мог – тряслись руки. Одна таблетка упала и закатилась под кровать, вторую он раскрошил. Наконец справился. Но пролил воду. Вытер, налил снова. Бабушка не могла протянуть руку, ему пришлось вложить таблетку ей в рот. Он поднес ей стакан, но она не могла пить. Он опять пролил воду – бабушке на лицо, на подушку – и наконец расплакался. Как маленький. Плача, чудом догадался, что можно поить бабушку из ложки. Перевернул подушку на сухую сторону, поддерживая бабушкину голову. Он не знал, что делать, только повторял:

– Прости, я не хотел. Сейчас вытру. Бабуль, я случайно, не сердись.

Бабушка вдруг открыла глаза, взяла его за руку и крепко сжала. Ничего не сказала, но Виталик понял, что она в него верит. Он справится. Только сам в себя не верил.

Ему нужна была помощь, поддержка. Лишь поэтому он позвонил матери. Сказал, что бабушке плохо, приезжала «скорая», сердце. Нужен уход, лекарства по часам. Кормить с ложки.

– Да она на моих похоронах простудится, – ответила мать, – та еще актриса. Денег на лекарства не дам. Продала кольцо, пусть еще что-нибудь продаст.

Виталик не знал, откуда взять деньги, но вдруг ему предложили «халтуру» – сделать срочный чертеж. Потом еще один. В иной ситуации он бы точно отказался, но в тот момент согласился. И на него вдруг посыпались заказы – начиная от заданий для нерадивых школьников, для которых урок черчения был адом и гарантированной двойкой, заканчивая институтскими курсовыми. Виталик каждую работу исполнял точно в срок и качественно, так что за полгода оброс постоянными заказчиками и связями, включая молодую девушку из знаменитого конструкторского бюро, куда та попала по протекции родителей.

Лена. Девушку звали Лена. Это знакомство принесло Виталию не только относительное материальное благополучие и стабильный заработок, но и, как оказалось, стало его судьбой. Не той, которую он себе желал. Не той, о которой мечтал. Но кто же может диктовать желания провидению, которое похоже на ребенка – тычет пальцем, куда не следует.

Виталий выполнял работы, Лена передавала его контакты своим знакомым, знакомым знакомых, снабжая новыми заказами. Все получалось, причем идеально. Был какой-то драйв, совмещенный с мандражом, даже истерикой – успеть, не подвести, выполнить в срок. Ради бабушки, которой требовались лекарства и приходящая медсестра – делать уколы. Виталий работал ночами, днем учился. Все складывалось будто само собой. Просто удивительно, насколько удачно. Едва сдав заказ и гадая, на что купить бабушке дорогое, но действенное лекарство, Виталик получал новый. Он звонил и благодарил Лену, понимая, что без ее связей ничего бы не получилось. Вел ее в кафе, в кино или на выставку в Третьяковку. Дарил цветы или коробку конфет в знак благодарности. Он не умел ухаживать. Да и не считал это ухаживаниями – лишь благодарностью за совместную работу. Лена его не привлекала как девушка. Но ему было с ней комфортно и спокойно. Виталий считал ее не другом, а просто хорошей знакомой. Он был предельно деликатен, вежлив и тактичен. Старался ее поразить – через благодарного заказчика достал билеты в «Современник», на премьеру в Дом кино. Лена, впрочем, тоже не выказывала каких-то других, кроме дружеских, симпатий. Виталию было с ней легко. Она кивала, улыбалась, соглашалась, внимательно слушала. Милая, не более того.

Вдруг стала звонить мать. В последний раз была особенно ласкова и сообщила, что «встретила свою судьбу». Даже поинтересовалась, не будет ли Викуся против, если она сделает ремонт в его комнате – ему ведь уже не нужно, а она всегда мечтала об отдельной спальне. Свою комнату она сделает гостиной. Виталик не возражал и пообещал заехать в выходные забрать нужные ему вещи, чтобы те случайно не выбросили во время ремонта.

Виталий заехал в выходные и увидел стоящую в коридоре коробку, предназначавшуюся на выброс. Сверху лежали его модели самолетов. Он аккуратно вытащил модели и увез к бабушке. Поставил на шкаф, повесил над рабочим столом.

Лена как-то постепенно вошла в его жизнь, задержалась и незаметно обосновалась. Они много времени проводили вместе. Виталий рассказывал ей о новых заказах, Лена неизменно улыбалась. Впрочем, она улыбалась всегда – особое строение мимики. Виталию это свойство одновременно и нравилось, и пугало. Он ловил себя на мысли, что хочет увидеть ее без привычно натянутой улыбки, но Лена оставалась неизменно приветливой, милой, эмоционально ровной.

Позже Виталий сравнивал Лену и Ингу. И одно время, пусть и очень короткое, устав от бурных эмоций Инги, которая выражала их тут же – вскидывала брови, кривила лицо, хмурилась, в одно мгновение могла заплакать и сразу же начать отчаянно хохотать, – даже наслаждался этой ровной, однообразной мимикой Лены. Как и самой Леной – такой же неизменной и неизбежной, как графин на мятой скатерти, которую нужно передать со всеми заломами и пятнами, или яблоко с «подбитым» боком, которое он воспроизводил четко, чтобы графин на рисунке не заваливался, а яблоко не казалось мячом. Лену Виталий сравнивал с уроком по рисунку – кувшин, графин, ваза. Яблоко, перец, персик. Предсказуемое, известное заранее, традиционно скучное, но необходимое. Лена, взяв на себя все заботы по заказам и общению с внешним миром, неожиданно стала Виталию жизненно необходима. От нее зависела и жизнь бабушки: регулярные заказы обеспечивали стабильный заработок. Денег стало хватать на все – и на лекарства, и на еду. Большого Виталий и желать не мог. Он вдруг отмечал, что на столе появилась новая скатерть, а у бабушки на кровати новая простыня. В его шкафу будто сами собой оказывались носки, рубашки, нижнее белье. Виталий ценил, что Лена делает все незаметно.

Инга, появившаяся в его жизни в тот же отрезок жизни, что и Лена, была полной ее противоположностью. Будто судьба решила поиграть его эмоциями, швыряя из спокойствия и стабильности в полный хаос и истерику, делая ставки на то, что он выберет. С Ингой они познакомились на выставке, куда его привела Лена. Виталий не хотел идти, выставки его не интересовали – чужому успеху он завидовал, объяснял его исключительно нужными связями и протекциями. Даже в хороших работах искал, к чему придраться. Он мучился, понимая, что у него никогда не будет персональной выставки. Нет ни громкого имени в родословной, ни влиятельного покровителя. Никакого. И таланта, проблеска гениальности, который сам пробьет себе дорогу, тоже не обнаруживалось.

У него была только Лена, которая взяла его за руку и повела. Медленно, но с уверенностью в завтрашнем дне, который обещал быть скучным до зевоты, мучительно однообразным. Лена затаскивала его в болото стабильности, столь желанное для многих. В жизнь, где не будет потрясений, страданий, нервных срывов. Не будет ничего, кроме благополучия – такого же вожаемого, как и страсть, любовь до смерти, жизнь на грани возможного. Лена вырабатывала для него гормон спокойствия, Инга же ворвалась всплеском адреналина, от которого наступает моментальная зависимость и дикая ломка при его отсутствии. Лена в тот вечер на выставке спокойно сказала, что надо потерпеть минут сорок – просто со всеми поздороваться, быть уверенным, держаться достойно. Появиться непременно надо – там будут потенциальные заказчики, которые хотели бы сначала познакомиться лично.

– Покажи им мои работы. Зачем им со мной знакомиться? – буркнул Виталий.

– Личный контакт, пусть шапочное знакомство, важно, – твердила Лена.

– Хорошо. Но я уйду, когда почувствую, что больше не могу терпеть, – предупредил он.

– Конечно. Спасибо, – улыбнулась Лена.

Она всегда говорила «спасибо». Благодарила за любую мелочь. Виталия это потрясало и привлекало. Он подал ей пальто, подхватил упавшую сумку, открыл дверь такси, сказал, что она прекрасно выглядит. Лена за все благодарила.

– Вам нравится? – спросила девушка, стоявшая перед картиной.

– Вам ответить честно или как требуется? – уточнил Виталий. Он сбежал от Лены в дальний зал выставки, как ребенок, которому надоели взрослые.

– По-моему, это ужасно, – расхохоталась девушка. – Вы художник? Объясните мне, почему все восхищаются? Ну я правда не понимаю. – Она продолжала хохотать.

– Вот здесь, смотрите. – Виталий указал нужное место на картине. – Он устал и пошел, например, в туалет. А в этот момент, – Виталий показал другой фрагмент, – как мне кажется, пил чай. А вот здесь явно хотел сбежать из дома, потому что жена учинила форменный скандал.

Девушка снова расхохоталась. Так громко и беспардонно, что на них стали поглядывать с укоризной.

– Хочу еще, – продолжая смеяться, потребовала девушка.

Она говорила, как говорят маленькие дети, когда требуют еще одну конфету или дополнительную порцию мороженого: хочу – и все.

Виталий давно так не смеялся. Разве что в детстве. Он на ходу придумывал какие-то глупости, она закатывалась, держась за живот, и он поневоле тоже начинал хохотать.

Едва дыша от хохота, он наконец сказал:

– Мы так и не познакомились. Виталий.

– Инга.

– Очень необычное имя.

– Да уж, предмет издевательств в детстве. Я родилась зимой, и мама решила, что Инга означает «зимняя», что, конечно, не так. Происхождение имени скандинавское. Обычно меня звали Инной. Ненавижу свое имя.

– В этом мы похожи. Виталий тоже не самое удачное имя. Вас мама как называла ласково?

– Гуся, Гусь.

– А меня Викуся.

Они опять расхохотались. Никогда в жизни Виталий не мог себе представить, что будет хохотать над детским прозвищем.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.